

1999

1999



Е. Маурин

МОГИЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ФАВОРИТА

Annotation

В романах Евгения Ивановича Маурина разворачивается панорама исторических событий XVIII века. В представленных на страницах двухтомника произведениях рассказывается об удивительной судьбе французской актрисы Аделаиды Гюс, женщины, через призму жизни которой можно проследить за ключевыми событиями того времени.

В первый том вошли романы «Могильный цветок» и «Возлюбленная фаворита».

- [Евгений Маурин](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)

- XII

- ЧАСТЬ ВТОРАЯ

- I

- II

- III

- IV

- V

- VI

- VII

- VIII

- IX

- X

- XI

- XII

- XIII

- XIV

- XV

- XVI

- XVII

- XVIII

- XIX

- XX

- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

- I

- II

- III

- IV

- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)

- [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
-

Евгений Маурин

Возлюбленная фаворита

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

На чужбине

I

Итак, мы мчались к далекой, неведомой России. Наше путешествие изобиловало всякими интересными эпизодами и происшествиями. но я не буду

останавливаться на них, так как описание путевых приключений отвлекло бы меня от главной цели моего рассказа. Вместо этого я лучше постараюсь вкратце изложить положение дел в России, чтобы потом мне не пришлось прерывать рассказ досадными отступлениями и пояснениями.

В то время в России правила императрица Екатерина Вторая, которую современники называли «Северной Семирамидой» за ее исключительные государственные таланты.

Действительно, со времени смерти императора Петра I Россия была лишена дельных правителей. Императрица Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, правительница Анна, Елизавета Петровна, Петр III – вот тот безрадостный фон, который особенно ярко оттеняет крупную фигуру «Северной Семирамиды». При Екатерине прекратилось полновластие хищных фаворитов. Будучи более пылкой и более увлекающейся женщиной, чем все ее предшественницы, она в то же время не давала разуму подчиняться слепому чувству и строго отделяла свою жизнь женщины от обязанностей государыни. Так, например, веря в таланты Потемкина, она не лишила его власти тогда, когда он перестал быть другом ее сердца. Только один Платон Зубов составил исключение из этого правила. Но эпоха владычества Зубова принадлежала к позднему периоду

царствования Екатерины II, когда она уже потеряла от старости былую ясность мышления. Да и к чему же судить о человеке-деятеле по самым неудачным страницам его жизни?

Конечно, я не хочу сказать, что под скипетром «Северной Семирамиды» России жилось уж очень хорошо и привольно. Не хочу я сказать и то, чтобы фавориты и любимчики были лишены возможности злоупотреблять своим положением. Я просто прикидываю личность императрицы к окружавшей ее среде и эпохе и сравниваю ее правление с правлением предшествующих государей. И если учесть все это, если принять во внимание, что при вступлении на престол положение самой императрицы было очень шатко, что то и дело вспыхивали заговоры и бунты, опиравшиеся на бесправное воцарение Екатерины, что казна была пуста, а страна разорена — надо признать особую твердость руки, ясность ума и величие души за кормчим, сумевшим провести государственную ладью сквозь все эти водовороты и мели.

В эпоху, к которой относится мой рассказ, императрице было тридцать четыре года. Урожденная принцесса Ангальт Цербская, она была вызвана покойной императрицей Елизаветой в качестве невесты молодому великому князю Петру, племяннику и наследнику Елизаветы. Принц Петр Голштинский приходился Елизавете Петровне племянником по

женской линии, а по отцу, по духу и привычкам был типичнейшим немцем, да еще притом немцем неумным и дурно воспитанным. К тому же он был страстным поклонником прусского короля Фридриха Великого, которого императрица Елизавета считала своим злейшим врагом. Все это не могло содействовать развитию у императрицы особой симпатии к великому князю, тем более что вызов в Россию и объявление наследником принца Голштинского было делом не родственных чувств Елизаветы Петровны, а лишь политических соображений: ведь Петр Голштинский был более чем опасным претендентом на русский престол, так как по завещанию императрицы Екатерины I в случае смерти Петра II престол должен был перейти к нему. Таким образом пребывание голштинского принца за границей могло быть вечной угрозой спокойствию императрицы Елизаветы, ну, а его положение в качестве русского великого князя и наследника гарантировало ее от каких-либо заговоров с его стороны.

Поэтому немудрено, что императрица Елизавета относилась к великому князю недоброжелательно. Это же чувство Елизавета отчасти переносила и на молодую великую княгиню, которая жила буквально между двух огней, так как и муж, сознавая умственное превосходство жены, выказывал ей явную вражду и донимал разными неумными, часто неприличными

выходками.

Все это заставляло Екатерину деятельно заняться самообразованием и чтением. И в то время, как императрица отдавала все свое время нарядам, балам и развлечениям, а великий князь строил игрушечные крепости и напивался допьяна в дурной компании, Екатерина в тесном кружке наиболее развитых придворных спасалась от нравственного холода и одиночества философскими беседами и образовательным чтением. Немало труда положила великая княгиня и на то, чтобы основательно изучить русский язык и русские нравы; собираясь стать русской императрицей, она хотела перестать быть немецкой принцессой.

В 1754 году для великой княгини блеснул новый свет: она почувствовала, что должна стать матерью, и надеялась найти радость и удовлетворение в материнстве. Но этот свет так же быстро погас, как и зажегся: когда у Екатерины родился сын Павел, императрица Елизавета взяла ребенка к себе и редко позволяла матери видеться с ним. Материнские чувства Екатерины были искусственно подавлены, более они не пробуждались в ней, и между матерью и сыном навсегда поселилась отчужденность, перешедшая впоследствии в открытую враждебность.

Все это не могло не толкнуть молодую женщину на
торопливо порождая нравственного холода. Ведь она

горную дорожку чувственного искушения. Бедь она была молода, пылка, красива; она жаждала ласки, все ее существо тянулось к любви и сочувствию, а вокруг себя она встречала лишь пренебрежение, насмешку и недоброжелательство. При таких условиях — «кто первый встал, да палку взял, тот и капрал». Началась целая вереница увлечений, великая княгиня открыто изменяла супружескому долгу, от соблюдения которого ее избавляло пренебрежительное равнодушие мужа. Императрица очень терпимо относилась к грешкам такого рода, если они проделывались втайне, не на виду. К тому же она достаточно сильно не любила племянника, чтобы не злорадствовать по поводу его роли «фогатого потентата». Однако пылкий темперамент великой княгини давал все основания опасаться, как бы увлечения не разрослись в открытый скандал. Во избежание этого императрица Елизавета постоянно удаляла из Петербурга лиц, слишком открыто и долго пользовавшихся расположением Екатерины. Поэтому, хотя за «палку» брались многие, но настоящего «капрала» не оказалось. Этот «капрал» явился уже в последние годы царствования Елизаветы в лице Григория Орлова, впоследствии графа и всесильного фаворита.

Братья Григорий и Алексей Орловы происходили из незначительного дворянского рода. Особым умом они не отличались. Зато в отношении физических

достоинств братья Орловы были вне сравнения. Рослые, коренастые богатыри, способные выстоять в бою «грудь против груди» с доброй сотней посадских, пить без перерыва и просыпа и в любой момент учинить любой дебош. Ну, а соответственно с этим всякое умственное напряжение казалось им невыносимым. Во всяком случае уж не философские беседы и не образовательное чтение связали Екатерину с Григорием. Но у Екатерины ума вполне хватало на двоих и более. Для осуществления ее планов ей нужна была не нравственная, а именно стихийная физическая сила. Между тем наступало время, когда вопрос «быть или не быть» встал перед Екатериной с особенной остротой. В таких случаях физическая сила очень часто является решающей. Она и была призвана решить положение, и положение было решено в пользу Екатерины.

Случилось это сейчас же после смерти императрицы Елизаветы, югда на карту было поставлено не только положение самой Екатерины, но и всей династии. Император Петр III с самого начала повел себя в высшей степени неумно. Не зная и не желая знать настроения и симпатии русского общества, он пошел против того, что было для этого общества священным. Все русское общество ненавидело Фридриха II и с восторгом приветствовало успехи русского оружия, заставившего трепетать даже Берлин, а между тем первым актом воцарившегося Петра III были:

отозвание русских войск и полнейший отказ от возможности воспользоваться выгодным положением, занятым Россией. И это восстановило против Петра III армию. Глумление над православием, отобрание церковных имуществ и попытка нарядить священников в костюмы лютеранских пасторов восстановили против Петра духовенство и простой народ. Служилую и родовую знать оскорбляло явное предпочтение, которое оказывалось всяким немецким авантюристам. Словом, не было такого общественного слоя, в котором правление Петра III не вызывало бы негодования и раздражения. Екатерина видела, что Петр ведет себя, семью и всю династию к явной гибели. Она не могла оставаться равнодушной зрительницей. К тому же ее собственное положение с каждым часом становилось все невыносимее. Петр публично оскорблял жену, открыто показывался со своей фавориткой Елизаветой Воронцовой и не скрывал намерения заточить императрицу-супругу в монастырь. Медлить было нельзя – это отлично сознавали сама Екатерина и кружок ее интимных друзей. В этом кружке главную роль играли граф Никита Панин, княгиня Дашкова (сестра Елизаветы Воронцовой; сестры были в большой вражде), братья Разумовские и братья Орловы. Панин и Дашкова были мозгом кружка, братья Орловы – мускулами его. Но все одинаково сходились в ненависти к императору Петру III и в обожании пассивной приветливой умной

Петру III и в оскорблении законной, приверженной, умной императрицы Екатерины. Неужели дать Петру III, этому грубому, вечно хмельному человеку, затравить ее? Нет, об этом не могло быть и речи! «Его» надо было устранить. Но вот дальше-то как быть?

А это «дальше» требовало серьезного обсуждения. Конечно, в силу завещания императрицы Елизаветы права на трон принадлежали после Петра малолетнему Павлу. Кроме того, если Петр III хотя бы с материнской стороны принадлежал к русскому царствующему дому, то Екатерина уже ни с какой стороны не была русской принцессой. Поэтому самое большее, на что она могла рассчитывать, не нарушая законов престолонаследия, — это на регентство при малолетнем императоре Павле. Но память о Бироне, Меншикове, Анне Леопольдовне и судьбе заточенного императора Иоанна Антоновича была еще свежа, и опыт прошлого достаточно ясно свидетельствовал, что регентство неминуемо превратится в губительную для страны борьбу партий. А ведь внутренние дела России и без того были из рук вон плохи, и малейшее замешательство могло вернуть «северного колосса» к существованию в качестве мелкой третьеразрядной державы. Поэтому положение обязывало забыть о правах и законах: надо было спасать династию и Россию.

Итак, переворот был решен, хотя день его совершения не был определен. Екатерина волновалась и

все откладывала решительный шаг. Однажды она уже заготовила манифест о своем вступлении на русский трон, но на другой день манифест был сожжен, так как императрица снова признала нужным отложить задуманное дело. Быть может, эти колебания затянулись бы на долгий срок, если бы сам Петр III не заставил Екатерину решиться. Однажды, на торжественном обеде, он под пьяную руку назвал императрицу при всех «дурой». Вечером того же дня к Екатерине прибежали взволнованные Орловы: они получили наивернейшие сведения, что Петр III уже подписал указ о заточении императрицы в дальний монастырь. Теперь уже нельзя было раздумывать, и Екатерина дала Орловым разрешение арестовать императора. Так и было сделано – 28 июня 1762 года Петр III был сослан в Ропшу, а Екатерина II объявлена русской императрицей. Вскоре император скоропостижно скончался, и относительно причин его смерти ходили самые темные слухи. Что Петр III умер насильственной смертью, можно считать вне сомнений, но за границей открыто говорили, что Орлов, задушивший императора, сделал это с ведома императрицы. Я же считаю более вероятным и правдоподобным мнение, которого держались иностранные послы при петербургском дворе; они уверяли, что Орлов просто переусердствовал.

Так или иначе, но смерть Петра III значительно упростила положение императрицы, и, короновавшись

летом 1762 года в Москве, она энергично начала заниматься упорядочением российских дел, пришедших в значительный упадок и расстройство вследствие неумелого правления в прошлом. Ко времени нашего приезда в Петербург и относится начало этой лучшей поры в жизни «Северной Семирамиды», вокруг которой, разумеется, кишело целое сплетение интриг. Мне непременно нужно хотя бы вкратце описать читателю узел этих интриг, чтобы стали понятными все те приключения, которые разыгрались в Петербурге.

Сделав свое дело, то есть возведя на трон императрицу Екатерину, сила (Орловы) и ум (Панин и Дашкова) стали смотреть друг на друга недружелюбно, добиваясь преимущественного влияния на императрицу. Княгиня Дашкова отличалась непомерным честолюбием, и ее раздражало, что Орловы мешали осуществлению ее тщеславных замыслов. Так, например, Орловы употребили все свое влияние, чтобы отговорить императрицу исполнить настойчивую просьбу Дашковой о назначении ее полковником гвардейского Преображенского полка. Но Дашкова успела забежать к императрице и снова уговорить ее. Императрица уже готова была подписать указ о назначении Дашковой полковником гвардии, как вдруг случайно пришедший Григорий Орлов увидел это и смеясь заметил, что никогда еще не видывал гвардейского полковника в интересном положении. Как оказалось. Дашкова

действительно уже несколько месяцев готовилась стать матерью... Так полковничий патент и остался неподписанным.

Панин, питавший к Дашковой нежные чувства, был всецело на ее стороне, и Орловы сильно опасались его. Ведь уже с 1760 года граф Никита был воспитателем и обер-гофмейстером двора великого князя Павла Петровича, и это положение обеспечивало ему широкую возможность встречаться и говорить с императрицей. В пику Дашковой и Панину Орловы уговорили Екатерину простить Елизавету Воронцову и взять ее ю двору. Со своей стороны, Панин нажимал все дипломатические пружины, чтобы сосватать императрице женишка и тем отстранить Орлова. Когда же этот замысел не удался, Панин подготовил опасного соперника Григорию Орлову, и позднейший успех Потемкина в значительной степени был вызван происками хитрого Никиты.

Как же относилась сама Екатерина к своему окружению?

Можно сказать, что Орлова она никогда не любила, и, когда чувственное увлечение несколько уменьшилось, Григорий стал ей в тягость вследствие своей грубости, дерзости, алчности и бесцеремонности. К тому же императрицу оскорбляли, как женщину, его вечные любовные приключения; но, как государыня, она хотела стать выше женской мелочности и по большей части

делала вид, будто ничего не знает. Кроме того, она боялась упреков в неблагодарности, да и на первых порах не чувствовала себя достаточно прочно сидящей на троне, чтобы, не приобретя новых друзей, отворачиваться от влиятельных старых. И это заставляло ее терпеть Григория Орлова и его брата.

Дашковой Екатерина не могла простить, что эта двадцатилетняя женщина по уму, образованию и бойкости пера могла соперничать с ней, Екатериной II. К тому же непомерное честолюбие и претензии княгини раздражали императрицу. И можно сказать, что именно в пику ей Екатерина приблизила ко двору фаворитку покойного Петра III, Елизавету Воронцову, сестру и злейшего врага княгини Дашковой. Вообще вскоре после вступления Екатерины на трон ее горячая дружба с Дашковой сменилась значительной холодностью.

Панину Екатерина тоже не очень-то доверяла. Это видно из того, что уже вскоре после своего воцарения императрица предлагала д'Аламберу занять место воспитателя Павла Петровича. Правда, когда д'Аламбер отказался принять этот почетный пост (в отказе знаменитого философа Екатерина обвиняла Дашкову, состоявшую в деятельной переписке с лучшими умами того времени), императрица уже не обращалась ни к кому больше, и Панин так и остался до совершеннолетия Павла Петровича на своем посту. Но она окружила графа Никиту целой сетью шпионов, так как Екатерине

отлично было известно, что мечтой Панина было ограничить самодержавную власть за счет усиления олигархической власти русской знати. А при всех своих свободомыслящих речах Екатерина II очень ревниво относилась к самовластью, да кроме того знала, что самая мрачная тирания в восточном духе – и та будет легче народу, чем аристократическая олигархия.

Вот каково было положение русских придворных дел, насколько мне удалось представить его себе впоследствии из личных наблюдений и разговоров с проживавшими в Петербурге французами и членами иностранных миссий.

II

Когда мы подъезжали к самому Петербургу, у Адели с матерью разыгрался довольно крупный скандал, в котором, по-моему, права была Адель. Надо вам сказать, что вследствие легкомысленности и самонадеянности Розы мы выехали совершенно невооруженными для путешествия и устройства в стране, ни языка, ни нравов которой как следует не знали. Но Роза уверяла, что она отлично знает русский язык, а Петербург ей знаком, как свои пять пальцев.

Пока мы ехали по немецким странам и прибалтийским провинциям, мы еще устраивались кое-как, благодаря тому, что я немного понимал и говорил

на языке Фридриха Великого. Но в самой России дело пошло много хуже, так как оказалось, что весь багаж лингвистических познаний старухи Гюс заключался в двух словах — «Ssamovar» и «Nitchevo», если не считать еще одного словечка, бывшего, должно быть, очень неприличным, судя по смеху мужиков и смущению проезжавшей русской дамы. Оказалось также, что уверения Голицына, будто каждый русский владеет французским языком, как родным, были более чем преувеличены. Конечно, при дворе было трудно найти человека, не владевшего двумя-тремя иностранными языками, но ведь графы и князья не служат ямщиками или содержателями постоялых дворов.

И вот на последней остановке под Петербургом у нас разыгралась целая история. Адель захотела съесть пару яиц всмятку, но нам никак не удавалось растолковать хозяйке, что именно нам нужно. В конце концов Роза принялась махать руками и клохтаться, приседая, как курица, снесшая яйцо. Должно быть, хозяйка вообразила, что старуха сошла с ума, и принялась испуганно креститься, а потом бомбой выскочила из комнаты. Мы видели из окна, как она принялась обсуждать это происшествие с мужем. Потом они, очевидно, пришли к определенному решению; муж куда-то скрылся, а через час нам принесли... жареную курицу! Курица была стара, скверно вычищена и еще

хуже зажарена. Адель с отвращением съела кусок почтенной прабабушки птичьего двора, а когда мы сели в экипаж и направились далее, накинута на мать со справедливыми упреками. Роза сначала отругивалась, как умела. Вдруг она густо покраснела, сделала величественный жест рукой и крикнула:

— Ты переходишь все границы! Приказываю тебе замолчать!

Адель широко раскрыла глаза, а потом чистосердечно расхохоталась.

— Ты приказываешь мне? — переспросила она, захлебываясь от смеха. — Мать, мать! Да ты верно окончательно выжила из ума! Никогда у тебя его много не было, а тут ты и с остаточков свихнулась! Она приказывает мне!..

— Да, я приказываю тебе, и ты должна слушаться меня! — с яростью ответила Роза. — Или ты забыла, что поклялась повиноваться мне? Ну-ка, попробуй нарушить свою клятву! Смотри, девка, Бог-то шутить с клятвопреступниками не будет!

Адель закусила губу и отвернулась к окну кареты: безбожие часто уместается с крайним суеверием, и Адель, вспомнив о своей клятве, была способна действительно поверить, что Сам Господь Бог Саваоф, грозно сверкающий молнией, снизойдет с небес, чтобы разрешить спор двух таких негодниц, как они.

Довольная своим торжеством Роза откинулась в

угол кареты и сейчас же задремала, что часто бывало у нее после сильных волнений. Наступила тишина, прерываемая лишь грохотом колес по скверно вымощенной шоссеиной дороге.

Адель оторвалась наконец от созерцания унылого пейзажа, с презрительной ненавистью посмотрела на спящую мать и затем с насмешливой грустью остановила на мне взгляд своих лучистых глаз.

— Что, братишка, — с ласковой иронией сказала она, впервые после долгого перерыва называя меня этим ласкательным именем, — видно, не очень-то умно необдуманно давать клятву?..

— Раз клятва дана, ее надо сдержать, — уклончиво ответил я.

— Разумеется, — сказала Адель, — в этом мире надо платить за все, и за глупость тоже! А с моей стороны было такой глупостью позволить «проклятой» обойти меня с этой дурацкой клятвой. Все равно я добилаь бы своего, и теперь мне было бы нисколько не хуже от того, что к дебюту у меня не было бы нового платья... Ну да, что сделано, того не воротишь. Да и не вечно же будет жить эта почтенная старушка: наверное, все дьяволы ада уже давно с нетерпением ждут ее к себе! А вот твое положение гораздо хуже моего! Я молода и проживу, вероятно, долго. Мне очень жаль тебя, бедный мой, — насмешливо прибавила она, — но тебе не выпутаться из тех сетей, в которые тебя вовлекла необдуманная клятва!

— Что об этом говорить!.. — недовольно заметил я.

— Нет, братишка, об этом именно надо поговорить, — сказала Адель, переходя на серьезный, ласковый тон. — Я далека от мысли злоупотреблять твоим подчиненным положением, и мне хотелось бы теперь же все с тобой решить. Мельком мы уже говорили об этом, когда ехали из Буживаля, теперь договоримся окончательно. Видишь ли, в душе я тебя все же очень люблю — не как мужчину, разумеется, а как хорошего, славного человека, который сделал мне много добра. Кроме того, я нахожу, что какой-нибудь секретарь или нечто в этом роде не может придать женщине такой шик, как... Скажи, Гаспар, ведь, наверное, Лебеф не полное имя и у тебя найдется какое-нибудь звонкое «де»? Ведь, помнится, ты говорил, что ты не из плохого дворянского рода?

— Собственно говоря, мое полное имя Лебеф де Бьевр, и я нахожусь в довольно близком родстве с маркизами де Бьевр. Но для того, чтобы быть мелким клерком у нотариуса или секретарем у девицы Гюс, достаточно оставаться просто Лебефом...

— Ошибаешься! Совсем наоборот! Я все время думала, как бы опозитизировать в глазах общества свое положение, и решила вот что. Ты будешь называться не Лебеф, а де Бьевр, я же пушу исподтишка слух, будто ты на самом деле — маркиз де Бьевр. Ты — идеальный рыцарь, полюбивший меня безграничной любовью еще во

рыцарь, полюбивший меня безрешной любовью еще во времена моего детства и посвятивший с тех пор все свое состояние и время процветанию моего таланта. Боясь, как бы в далекой России я не стала жертвой своей доверчивости и наивности, ты не решился отпустить меня одну и последовал за мной, чтобы мужской рукой охранять мою честь. Согласись, что моя выдумка прелестна; она откроет тебе двери всех домов, ну, и мне тоже... поднимет цену!

В этот момент карету сильно тряхнуло на косогоре. Роза проснулась от толчка и этим избавила меня от неприятной необходимости ответить что-либо Адели.

III

В Петербург мы попали к вечеру. Исполнив необходимые заставные обрядности, мы покатали по широкой, но неуклюжей улице, вымощенной бревнами. Во многих местах бревна сильно разошлись, и карета, купленная нами в Кенигсберге довольно подержанной, жалобно подвизгивала в этой тряске, с которой не могла сравниться самая злая морская буря.

— Ну-с, — сказала Адель, — не может ли теперь почтительная и послушная дочь спросить у своей мамы, которая так отлично знает русский язык и петербургскую жизнь, куда мы собственно едем и в какой гостинице остановимся на ночлег?

Роза густо покраснела. Хмель, под влиянием которого она требовала восстановления родительского авторитета, был несколько рассеян сном, и теперь старуха еще острее чувствовала затруднительность положения.

— В мое время, — неуверенно сказала она, — была отличная гостиница на улице, которую я знаю наизусть, но хоть убей — не могу сейчас припомнить, как она называется. Помню только, что это название имело что-то общее с водой или каким-то напитком...

— Может быть, «Grande rue de Sivouha»^[1]? — ехидно подсказала Адель, которая вспомнила рассказ Голицына о сивухе как об излюбленном напитке простонародья.

— Кажется, что-то в этом роде, — смущенно согласилась старуха, к величайшему удовольствию Адели. — Но во всяком случае это неважно. Наверное, ямщик подвезет нас к какой-нибудь гостинице.

Однако, должно быть, и ямщик не знал, куда нас везти, так как в ту же минуту карета остановилась, и вскоре у окна показалось угрюмо-разбойничье бородатое лицо нашего возницы, который что-то спросил на своем варварском языке. Ну и комедия поднялась тут!

Ямщик что-то сердито лопотал по-русски; Роза, страстно жестикулируя, тараторила по-французски, призывая на голову мужика все громы и кары небесные за то, что он «не хочет» понять ее. Около кареты стал собираться народ. Должно быть, ямщик говорил

Большая Сивушная улица, что-нибудь очень злое и дерзкое, — его слова нередко сопровождались взрывами грубого смеха толпы. Эти взрывы достигли своего апогея, когда Роза несколько раз повторила свое «Гран-рю де Сивуха». Наконец ямщик презрительно махнул рукой и ушел вперед к лошадям. Роза выплянула в окно и вдруг неистово закричала по-французски:

— Нет, да вы посмотрите, люди хорошие, что делает этот разбойник! Ведь он лошадей выпрягает! А! Как это вам понравится! Да ведь это что же будет?

Разумеется, ямщик не обращал внимания на непонятные ему проклятия и угрозы старухи и продолжал методично выпрягать лошадей, видимо, собираясь оставить нас посреди улицы и ускакать прочь. Что и говорить, ведь не мог же он возить нас по всему городу?

Неизвестно, чем кончилась бы вся эта история, если бы внезапно около нас с другой стороны кареты не послышался звонкий, мелодичный хохот. Мы обернулись и увидели очаровательную брюнетку со смуглым лицом и жгучими глазами, сидевшую верхом на породистой лошади.

— Простите мне мой глупый смех, — бегло, но неправильно и с заметным итальянским акцентом сказала черноглазая амазонка, — я понимаю, что над несчастьем стыдно смеяться, но все это так комично, так

комично... — Она вновь засмеялась, а потом продолжала: — Нельзя ли узнать, кто вы, и не могу ли я быть вам полезной? Я — примадонна здешней оперы, Тарквиния Колонна!

— Ах, сударыня! — затараторила Роза, высовываясь в окно, — вас послало к нам само небо! Вы сами — иностранка и понимаете положение культурных людей, попавших в эту варварскую страну... Ай! — пронзительно крикнула она, хватаясь за нижнюю часть спины и отскакивая, словно ошпаренная, от оконца.

— Сударыня! — сказала Адель, которая сильным шипком заставила не в меру болтливую старуху отскочить от окна и теперь заняла ее место. — Мы — французы, не знающие никого в Петербурге. Нам нужно где-нибудь остановиться, но мы не знаем где, а ямщик не понимает нас и хочет выпрягать лошадей и поставить нас таким образом в окончательно безвыходное положение. Надеюсь, что вы выручите нас и укажете, как нам быть, тем более что мы с вами — товарищи по искусству. Неужели вы — знаменитая Тарквиния Колонна, итальянский соловей? А я — начинающая драматическая артистка Аделаида Гюс!

— Как? — вскрикнула Колонна, — вы — Гюс? Та самая, о которой так много кричат теперь и которую с нетерпением поджидает здешняя драматическая труппа? И какая вы молоденькая! да хорошенькая! Я с удовольствием расцеловала бы вас, но сейчас нельзя

терять время: этот варвар продолжает выпрыгать... Хотя я и сама не очень-то сильна в русском языке, но назвать улицу сумею. Я направлю вас в гостиницу мадам Гюфр на Мойке. Там прилично, комфортабельно и понимают по-французски. Но погодите, я сейчас скажу ему и сама, пожалуй, провожу вас!

Певица с видимым трудом сказала несколько слов ямщику, но тот сумрачно отмахнулся от нее и что-то ответил грубым, дерзким тоном.

Колонна вспыхнула, ее глаза загорелись гневом.

— Ну погоди, негодяй, — сказала она по-французски, оглядываясь по сторонам, — ты еще не знаешь, кто я такая! Князь! Князь! На одну минутку! — крикнула она, заметив молоденького рослого офицера, проезжавшего верхом по улице в сопровождении денщика.

Офицер подъехал, и Колонна рассказала ему, в чем дело.

Тогда офицер молча козырнул певице, спешился, отдал поводья денщику и подошел к ямщику. Не говоря ни слова, он ударил мужика кулаком по лицу, затем грозно крикнул что-то и в назидание вытянул его по шее. Ямщик торопливо бросился запрягать вновь, выплевывая на ходу кровь из разбитых зубов. Толпа, еще недавно грубо хохотавшая с ямщиком, теперь захохотала над ним.

Через несколько минут лошади были опять впряжены, ямщик вскочил на козлы и быстро погнал

лошадей. Колонна поскакала рядом с каретой. Офицер-спаситель почтительно откызырлял певице и поехал своим путем дальше. Теперь мы уже без всяких приключений добрались до гостиницы. Колонна была так любезна, что проводила нас до самого места и, зная петербургские цены, не дала госпоже Гуфр уж очень ограбить нас. Таким образом мы получили приличные комнаты за довольно сносную цену.

IV

Колонна посидела немного с Аделью и ушла, наговорив в три минуты столько, сколько могут наговорить женщины, то есть очень много. Из своей комнаты я слышал их разговор, ясно долетавший до меня благодаря тому, что оба номера были соединены дверью, заклеенной тонкими обоями.

— Милочка, — спросила между прочим черноглазая Тарквиния, — а что это за интересный мужчина приехал с вами?

— Это — мой друг де Бьевр.

— Ваш друг? — с изумленным отчаянием перебила итальянка. — Неразумное существо! Да ведь вы восстановите против себя всю русскую знать, ведь вы не сделаете карьеры здесь! Глупенькая, да ведь Россия — эльдорадо для хорошенькой артистки!

— Прощайте, дорогая моя, — остановила ее Адель. —

— пожалуйста, дорогая моя, — остановила ее Адель. —

Я вижу, что вы не поняли меня. Бьевр — мой друг, но не больше. У нас, во Франции, существует очень хорошая поговорка, что в Италию со своими макаронами, а в Бургундию со своим вином не ездят. Я вполне разделяю это мнение и никогда не приехала бы в Россию со своим сердечным дружкой. Но Бьевр... Ах, дорогая моя, вы не можете представить себе, что это за человек! Ведь это — рыцарь без страха и упрека! Это — какой-то пережиток из добрых старых времен, когда мужчина был способен посвятить женщине всю свою жизнь, не требуя от нее ничего взамен!

— Вы меня крайне заинтересовали, милочка! — заметила Колонна. — Неужели вы хотите сказать, что...

— Ах, душечка, вы мне так понравились, что я вам все расскажу! Прежде всего скажу вам по секрету, что моего Гаспара зовут маркизом де Бьевр, но он из скромности называет себя просто Бьевром, а во Франции вздумал называться Лебефом. Это — очень ученый и образованный человек, большой друг искусства и артистов. У него было недурное состояние, но он его почти все растратил, хотя, несмотря на то, что он молод, не кутит и не грешит никакими излишествами. Все его деньги ушли на поддержку начинающим артистам, художникам и поэтам. Меня он встретил на улице маленькой, голодной, оборванной девчонкой. Почему-то ему сразу показалось, что на моем лице лежит

печать таланта, и он взялся за мое артистическое воспитание. Когда я получила приглашение в Петербург, он настоял на том, чтобы ехать вместе со мной. «Я вас не стесню и ни в чем вам не помешаю, — сказал он мне, — я лишь буду стоять на страже ваших интересов и чести. Вас легко могут обмануть на деловой почве, да и всякий надменный аристократ надругается над вами, воспользовавшись вашей неопытностью. Вот тут-то эти господа и узнают, какво иметь дело с маркизом де Бьевр!»

— И у вас с ним никогда ничего не было? — с любопытством спросила итальянка.

— И вы еще спрашиваете, дорогая! Он — вообще какой-то не от мира сего и не обращает внимания на женскую прелесть, ну, а я... Да ведь вы сами — женщина и понимаете, что такому человеку, как Бьевр, можно поклоняться, его можно боготворить, но любить его простой греховной любовью... Фи!

— Чудны дела Твои, Господи! — сказала Колонна. — Ну, да чего не бывает на свете! Однако вам надо отдохнуть с дороги. Если позволите, я наведаюсь к вам завтра утром. Может быть, я в чем-нибудь смогу быть вам полезна.

— Душечка! Да приходите к завтраку! Я вам так благодарна, так благодарна!

— Полно!.. Разве мы не должны помогать друг другу? Что за пустяки! Но я с удовольствием принимаю

ваше приглашение и буду у вас. Если хотите, я могу привести вам одного человечка, который будет вам очень полезен. Только это – большой секрет! Мы избегаем слишком открыто показываться вместе, так как... Ну, да вы меня не выдадите! Это граф Алексей Орлов, брат влиятельнейшего фаворита самой Екатерины. Императрица серьезно подумывает о том, чтобы женить моего Алексея, и потому нам особенно афишироваться нельзя. Но это ничего! Словом, если позволите, я приведу его завтра с собой, и мы премило позавтракаем. Орлов будет вам очень полезен, душечка; вы сразу благодаря ему войдете в избранный круг русской знати.

– Ах, как я благодарна вам!.. Я так рада, рада...

– Еще одно слово, душечка! Вы уж не сердитесь, если я буду с вами вполне откровенна, но это для вашей же пользы! Должна вам сказать, что ваша мамаша производит... как бы вам это сказать?.. впечатление...

– Отвратительнейшей ведьмы на свете! – договорила Адель.

– Ну, зачем уж так сильно! Я верю, что она – очень милая женщина, но в нашем кругу – в кругу хорошеньких, нестрогих женщин и щедрых кутил – мамаш вообще не очень-то долгоблювают.

– Полно! – остановила ее Адель. – Я отлично понимаю, что такая мегера, как моя мамаша, к нашей компании не подходит. Вы хотите сказать мне что

лучше, если я не буду знакомить мамашу и вводить ее в круг? Да я и не собиралась этого делать, и если вы придете завтра со своим дружкой к завтраку, то мамыши вы за столом не встретите!

— Ну, вот и отлично! — сказала певица. — Мы премило позавтракаем вчетвером! А теперь до свиданья, душечка! Спите спокойно! Завтра к часу ждите гостей!

Послышался звук крепких поцелуев, и итальянка ушла.

Лежа в кровати, я с досадой и облегчением обдумывал последствия басни, придуманной Аделью. Досадовал я потому, что вообще ложь противна моей натуре. Но тут я не мог не согласиться, что эта басня освобождает меня от двусмысленности положения. Ведь, как секретарь на жалованье, я не мог свободно вращаться в обществе всех этих важных господ, а как дворянин и образованный человек — не мог довольствоваться положением и обществом прислуги. Но ведь у Адели была непонятная страсть вечно таскать меня с собой, и во Франции из-за этого не раз бывали неприятные для меня шероховатости.

Однако все же какое проклятие тяготело надо мной из-за греховного тумана, закружившего мне голову и давшего связать себя этой унижительной клятвой! Не дай я дьяволу одурачить меня, не поддайся я чарам Сесили, я не увлекся бы Аделью за минуту обладанья и не дал бы

ей всей своей жизни в рабство. Насколько иначе сложилась бы тогда моя жизнь! Я был бы уважаемым нотариусом, женился бы на какой-нибудь чистой, хорошей девушке, не знал бы всей этой лжи, грязи, гадости...

Но что сетовать и оплакивать невозвратимое? Надо уметь расплачиваться за свои ошибки. Ну, и плати, Гаспар; плати той ценой, которую ты сам назначил!

Эти горькие думы долго не давали мне заснуть, и было уже около половины первого следующего дня, когда Адель постучала ко мне и попросила меня выйти в общую комнату.

— Я хотела посоветоваться с тобой, Гаспар, — сказала она. — Надо щегольнуть и угостить наших гостей как следует. Но только я во всем этом ровно ничего не понимаю!

— Мне кажется, — сказал я, — нужно просто вызвать госпожу Гуфр и сказать ей, что нам требуется шикарный завтрак на четыре персоны. Наверное, она в грязь лицом не ударит. Конечно, это влетит нам в копеечку, но что же поделать, раз это нужно!

— Ты совершенно прав! — обрадованно сказала Адель и направилась к дверям, чтобы позвать прислугу.

Но в этот момент в дверь постучали, и, когда Адель крикнула «войдите!», в комнату вошла Тарквиния Колонна с высоким, широкоплечим красавцем, в каждой руке которого было по объемистому кульку.

– Вот представляю – мой друг, граф Алексей Орлов! – затараторила Тарквиния, целуясь с Аделью. – Извините, что мы пришли слишком рано, но так уж вышло. Вы не сердитесь, милочка?

– Смею ли я сердиться! – приветливо ответила Адель. – Я жалею лишь, что вышло так неловко: ведь я как раз собиралась распорядиться завтраком...

– И не успели? – подхватил Орлов. – Вот это восхитительно! Надо вам сказать, мадемуазель, что у госпожи Гуйфр отличный повар-француз и отвратительная кладовая. Ну, а я как раз получил вчера вечером целый транспорт разных деликатесов. Вот я и подумал: ничего подобного хозяйка вам предложить не сможет, так захвачу-ка я кое-чего по малости сюда! Ну и захватил! Вы позволите мне распорядиться?

– Граф, мне, право, совестно, – смущенно ответила Адель, – вы сами будете хлопотать, возиться...

– А кому же, как не мне, заниматься этим? – весело сказал Орлов, скаля ослепительно белые зубы. – Вот по части философии и прочей премудрости я действительно не силен, ну а уж еду какую ни на есть сколотить, так поди-ка, поищи другого такого, как я! – он засмеялся, и его смех был похож на ржанье дикого степного жеребца. – Вы позволите?

Орлов вышел в коридор и приказал позвать повара.

Вошел почтенный месье Пето и низко-низко поклонился графу.

— Вот что, друг Пето, — сказал ему Орлов. — Забери-ка ты эти кульки и сервируй нам завтрак. В одном у меня вино — распорядись одно согреть, другое остудить — словом, что какому сорту требуется. А вот в этом кулке закуски и живность. Закуску ты нам сервируй сейчас же. Из живности ты найдешь здесь стерлядей и птицу. Стерлядей свари нам в белом вине. Из птицы здесь индюшка и рябчики. Индюшку надо будет начинить рябчиками, да не желей трюфелей! Ну, да такому мастеру дела, как ты, нечего рассказывать. Так постарайся же на славу, дружище. И главное, сервируй нам поскорее закуску, потому что я умираю от голода!

Не прошло нескольких минут, как лакеи принялись сервировать завтрак. Чего-чего тут только не было! Все лучшее, что могли дать в закусках и винах все страны мира, было собрано здесь. Мы впервые познакомились здесь с русскими лакомствами, о которых много слышали, но никогда не пробовали: с икрой двух сортов и особо приготовленной рыбой под названием балык и тешка. Германия была представлена ветчиной и устрицами, Франция — вином и паштетами, Англия и Швейцария — сыром, Италия — омарами, Испания — какой-то удивительной рыбой, названия которой я не помню. А впереди еще были деликатесы в виде стерлядей и фаршированной индюшки!

Хорошая еда и благородное вино всегда

настраивают компанию на отличное расположение духа. К тому же Орлов был заразительно весел, все время шутил, смеялся, острил, пил и ел сам за четверых и умел уговорить пить и есть других. В общем, могу сказать, что наш завтрак удался на славу.

— Ну-с, господа, — сказал нам после завтрака Орлов, — позвольте мне от души поблагодарить вас за компанию. Давно уже я так легко и весело не проводил время, как с вами. Я надеюсь, что сегодня мы не в последний раз видимся! Видите ли, сознаюсь вам откровенно: благодаря маленькой услуге, которую мы оказали царице, и благодаря положению, занятому при государыне моим братом Григорием, везде в обществе меня принимают с распростертыми объятиями: мигни только — и застольных товарищей не оберешься. Но я чувствую, что тут много фальши, да и вся эта чопорная, надутая знать мне не по душе. Ишь тоже, чем хвастаются! Что их деды да прадеды то или се сделали! Нет, мы с братом на чужой или там дедовской шее не выезжаем, мы — сами себе деды. Вот поэтому-то я и дорожу обществом артистов, свободных людей! Позвольте мне чокнуться с вами за приятное знакомство!

Мы чокнулись, выпили, и Орлов продолжал:

— Так давайте же чаще видаться, а? У меня подобралась очень милая компания простых, нецеремонных людей, и мы прелестно проводим время.

Да вот милости прошу завтра вечером ко мне, в мою загородную дачу на Фонтанной. Я пришлю за вами карету. Надеюсь, вы не откажете мне, сударыня? — обратился он к Гюс.

— Я очень польщена и благодарна, граф, и с удовольствием буду, — ответила Адель.

— Конечно, и вы не откажете посетить меня, маркиз? — обратился Орлов затем ко мне.

— Благодарю за честь, граф, но спешу оговорить, что я — вовсе не маркиз, так что...

— Ну, не маркиз так не маркиз! — захохотал Орлов, хитро подмигивая мне (очевидно, басня, придуманная Аделью, уже была передана ему: то-то он с самого начала посматривал на меня с любопытством). — Что там титулы! Вы только приезжайте, а там — не хотите быть маркизом, так это — уже ваше дело. Ну-с, а теперь как вы предполагаете воспользоваться временем, господа?

— Мне нужно в наш театр, но я не знаю, как туда добраться, а Бьевр предполагал побывать в нашем посольстве, — ответила Адель.

— Душечка, — сейчас же сказала Тарквиния, — если хотите, я свезу вас в театр, а потом поедem кататься...

— В таком случае предлагаю вам вот что, — сказал Орлов. — Я похищаю маркиза... то есть, простите, господина де Бьевра, и пошлю скорохода Фильку за экипажем для вас. Вы тут потолкуйте о своих дамских

делах, а тем временем вам и карету подадут. Ну-с, едемте, месье, я завезу вас в посольство! Имею честь кланяться, сударыня, и позволяю себе надеяться, что завтра вечером увижу вас у себя!

Орлов галантно поцеловал руку у Адели, и мы спустились вниз, где его ждала карета.

Когда мы тронулись в путь, граф сказал мне:

— Здесь о девице Гюс говорят просто чудеса. В одной части — а именно в отношении ее красоты и ума — я убедился, что эти толки не преувеличены. Но действительно ли она — такая большая артистка, как уверяют? Мне просто не верится: слишком уж много даров послала природа ей одной!

— О, да, граф! — горячо сказал я. — Талант девицы Гюс вне всяких сомнений! Ни наружность, ни ум не могут идти в сравнение с ее дарованием. Ее ум — поверхностен, ее наружность — скорее банальна и может быть названа «*beaute du diable*»^[2]. Не спорю, она обаятельна; но ее обаяние — в удивительной изменчивости и подвижности натуры, способной одинаково и на добро, и на зло, в разнообразии и богатстве жизненных струн, не касаясь вопроса об их качестве... Вообще ум и красота Гюс очень оспоримы, и многие находят ее грубой и вульгарной. Зато ее талант совершенно неоспорим! Если бы вы знали, как она преображается на сцене! Ведь я знаю ее с детства, я

всегда при ней, и все-таки каждый раз, когда я вижу ее на сцене, я не верю себе, что это – Адель Гюс! Иной раз сидишь у нее в уборной перед ее выходом и возмущаешься, какая она капризная, резкая, жестокая. Но вот она вышла на сцену и произнесла какие-нибудь дивные слова о величии и кротости женской души, о торжестве добродетели, о христианском смирении, и чувствуешь, что в этот момент – о, только в этот момент! – это ее собственные искренние слова и мысли! Я никогда не забуду впечатление, которое на меня произвел ее первый дебют в «Заире». Перед самым выходом она сидела безвольная, подавленная, слабая, с трудом поднялась с кресла, чтобы идти на сцену; я боялся, что она упадет не дойдя. Но стоило ей выйти на сцену – и куда девались слабость, болезненная немощь, волнение! Она, эта молоденькая девчонка, не ведавшая сильных страстей, не знавшая душевной борьбы, сразу воплотила в себе страдающую, страстную женщину...

Я увлекся: талант Адели и ее сценическая интерпретация были для меня такими темами, на которые я мог говорить часами без передышки. Так и в этом случае я стал страстно разбирать саму пьесу, указывая, какие оттенки, какое понимание характера внесла в нее Адель.

Орлов ни разу не перебил меня. Откинувшись в угол кареты, он с интересом и любопытством смотрел на меня. Наконец я спохватился, покраснел и стал

смущенно извиняться за свою многоречивость.

— Да полно вам! — ответил мне Орлов, пожимая широкими плечами. — Чего вы извиняетесь? Уверяю вас, я с большим интересом слушал! Конечно, я не все понял, признаться, ведь я в высоких материях не мастер. Но меня захватили ваша горячность, тонкость суждений, начитанность... О, вы придетесь нам очень ко двору, месье де Бьевр! Наша повелительница очень любит литературу и философию, а вы знаете, что придворные считают нравственным долгом копировать государей со всеми их благородными и неблагородными страстями, увлечениями и чудачествами. Если вы произнесете такую горячую речь перед кружком наших придворных дам, то сразу победите их сердца... Впрочем, — засмеялся он, — я и забыл, что вы стоите выше побед, выше земных страстей! Ведь вы — рыцарь без страха и упрека! Абелар^[3], помноженный на Иосифа Прекрасного! Но это еще более увеличивает ваши шансы на победы при нашем дворе. Ведь человек уж так создан, что зачастую превышает всего ценит качество, которым не обладает сам. Однако вот мы и приехали к вашему посольству! Всего хорошего, дорогой месье де Бьевр. Я очень рад случаю, доставившему мне знакомство с вами, и надеюсь, что оно так не прекратится. Во всяком случае жду вас завтра непременно к себе!

Он с силой пожал мне руку, и я вышел из кареты.

Загородный дом Алексея Орлова был с виду мал, неказист и мрачен. Окна были плотно заставлены ставнями, и ни единого луча не вырывалось из неприглядного, покосившегося подъезда. Но все это было сделано нарочно, чтобы о веселых пирушках Орловых не проводали те, «кому о том знать не надлежало».

Когда мы вошли в темные сени, мальчик-казачок плотно притворил входную дверь и толкнул следующую, из которой показался слабый свет, достаточный, чтобы дойти до двери. Так мы попали во вторые сени, освещенные очень плохо и тускло. Но из вторых сеней мы попали в просторный вестибюль, настолько ярко залитый светом, что мы с Аделью невольно зажмурились.

Два арапа в золототканых ливреях подскочили к нам и помогли освободиться от верхнего платья. Третий ударил в висевший у мраморного простенка гонг, и сейчас же на уставленной цветочными деревьями площадке, к которой из вестибюля вели три мраморные ступеньки, показался величественный мажордом с жезлом в руках.

— От имени сиятельного графа приветствую дорогих гостей! — важно провозгласил он на отличном

французском языке, сопровождая эти слова низким, но полным достоинства поклоном. — Не соблаговолят ли высокие господа последовать за мной?

Мажордом повел нас анфиладой довольно высоких комнат, обставленных со сказочной роскошью. Наконец мы пришли в большой полуосвещенный зал, сквозь громадные окна и стеклянную дверь которого виднелась большая веранда. Дойдя до середины зала, мажордом три раза стукнул жезлом о пол, и арапчонки, стоявшие у двери, широко распахнули перед нами обе ее створки. Не успели мы подойти к дверям, как на пороге показалась высокая, широкоплечая фигура Алексея Орлова.

— А, дорогие гости! — приветливо воскликнул он. — Рад видеть вас, очень рад! Пожалуйте сюда, к нам! — Он поцеловал руку Адели, крепко пожал руку мне и предложил свою Адели, после чего, выводя нас на веранду, весело сказал: — У нас на этих вечеринках установлено одно правило, которое никто не смеет преступить. Это правило гласит: чтобы не было никаких правил! Кто что хочет делать, тот то и делает, лишь бы не было ссор да свар. Если есть хочется, а ужина не дожидаться — там в углу стол накрыт, подходи, пей да ешь, не дожидаясь, пока хозяин упрашивать начнет. Вина захотел — только мигни лакею, и, какое лишь вино на свете существует, в один миг подадут! Счастья в картишках попробовать захотелось — вон глядите, как

там яро сражаются хорошие молодцы! Погулять захотелось – весь парк к услугам. С дамой полюбезничать охота пришла – в парке беседок на всех гостей хватит. А надоела кому вся эта музыка – берись за шляпу, да и ступай не прощаясь домой! Только и всего! Господа! – громовым голосом закричал он гостям, – минуту внимания! Перед вами юная, но уже ослепительная звезда драматической сцены, девица Аделаида Гюс, и маркиз де Бьевр, желающий быть просто де Бьевром, в чем мы его и уважим! Прошу любить и жаловать! А где же хозяйюшка? Тарквиния! Опять убежала любезничать! Да, уж можно сказать, она в строгости соблюдает наше единственное правило и не признает никаких правил! – захохотал Орлов.

– Я здесь, мой повелитель! – раздался в этот момент мелодичный голос Тарквинии Колонны, внезапно вынырнувшей из тьмы парка и поднимавшейся на веранду под руку со стройным, элегантно одетым старцем. Я забыла свой долг и увлеклась! – трагически продолжала она. – Но кто же может противостоять чарам обольстительного синьора Бальтазара!

– О, да, – улыбаясь ответил Орлов, – синьор Галуппи^[4] непобедим, и я сильно подозреваю, что вскормившие его музы украли для него с Олимпа немножко амброзии^[5], что и делает его неувядающим!

Тарквиния подбежала к нам, расцеловалась с

Аделью, ласково поздоровалась со мною и затараторила о том, какую дивную оперу пишет в данное время синьор Галуппи и какая великолепная партия будет у нее, Тарквинии, в «Покинутой Дидоне». Это дало мне возможность несколько оглядеться по сторонам.

От веранды тянулся большой парк, о величине которого можно было судить по лампионам, украшавшим главную аллею. При слабом свете этих лампионов виднелись какие-то тени, и из разных уголков парка доносились молодые голоса, женский смех и пение.

Веранда, на которой мы находились, была величиной с порядочный зал. Диванчики и небольшие группы кресел, кокетливо заставленные цветущими деревьями в кадках, образовывали уютные уголки, почти сплошь занятые гостями. Среди последних значительно преобладали мужчины, но все женщины, которых я увидел, были молоды и красивы словно на подбор. Далее я убедился, что то же самое можно сказать и о всех гостях Орлова, причем среди них русских было очень мало: подавляющее большинство женщин принадлежало к иностранному артистическому миру.

В левом углу находился громадный стол, заставленный винами и закусками. Время от времени кто-нибудь из гостей подходил туда, закусывал, пил и опять уходил к какой-либо группе.

В правом углу толпились почти исключительно

одни мужчины: там шла крупная игра. Золото целыми столбиками передвигалось от одного игрока к другому, и в минуту выигрывались и проигрывались целые состояния. И так смешно было видеть, когда туда подходила дама, тревожно ставила один золотой, казавшийся крайне ничтожным около золотых столбиков, и с явной дрожью и жадным волнением на лице принималась следить за исходом игры.

Среди игроков выделялась богатырская фигура молодого красивого офицера, которого я сразу узнал по сходству с Алексеем Орловым: это был знаменитый фаворит императрицы Екатерины, почти неограниченный повелитель России в то время, «сам» Григорий Орлов. Но сходство братьев было чисто внешним, и с первого взгляда бросалась в глаза значительная разница между ними.

Григорий был красивее Алексея, черты лица у него были гораздо тоньше. Зато в Алексее была масса добродушия, мягкости, тогда как лицо Григория дышало надменностью и жестокостью. Говорили, будто Алексей задушил императора Петра III. Если это так, то я вполне верю в правдоподобность одной из версий, которая гласила следующее: Алексей обедал у экс-императора в Ропше; за столом все перепились, и Петр вздумал возиться с богатырем Орловым; во время шуточной борьбы Петр сказал Орлову какую-то дерзость, Алексей в наказание стиснул Петра покрепче, и объятий такого

медведя, как Алексей, оказалось совершенно достаточно для слабосильного, худосочного, больного сердцем Петра.

Быть может, что все это произошло и не совсем случайно, что в Орлове в момент борьбы вспыхнула старая, затаенная злоба, для которой у него было много причин. Но, нечаянно или умышленно совершил Алексей это страшное дело, все же я готов ручаться, что он не готовился к нему. А будь на его месте Григорий, тот умаслил бы Петра лстивыми речами, успокоил бы его подозрительность и потом подкрался бы сзади, чтобы сознательно, спокойно, уверенно задавить его!

Впоследствии мне приходилось не раз видеть обоих братьев в моменты сильного раздражения. Оба брата были очень вспыльчивы, отличались страстной, кипучей натурой. Но как различно выражалась у них эта страсть! Если вспылит, бывало, Алексей, то сразу видишь, что в нем поднялась стихийная, неукротимая сила; что он уже не может рассуждать и соображать; что сейчас он пойдет крушить и ломать все перед собой. Но если почему-либо вспышка разрешалась благоприятно, то тем дело и кончалось, и если Алексей не мстил сразу рассердившему его человеку, то он редко делал это и потом. А Григорий мог отлично владеть собой в минуты самых страстных вспышек злобы, но зато он ничего не прощал и мог долгое время таить в душе месть. Словом, Алексей был способен на более жестокие, более

Алексей был способен на любое преступление, но только не предумышленное, Григорий же мог годами готовить чью-нибудь гибель.

Я внимательно следил за тем, как играл Григорий. При выигрыше в его глазах вспыхивало надменное торжество, при проигрыше по его лицу с молниеносной быстротой проскальзывала злобная, раздраженная судорога. А ведь, как ни крупна была игра, состояние Григория было почти неисчерпаемо, самый крупный проигрыш не мог бы нанести ему заметный ущерб. Да и проиграй он хоть все! Разве на следующий же день императрица, нуждавшаяся в нем в данный момент, не покрыла бы всех его потерь? Ведь в российской казне зачастую не хватало денег лишь на необходимые реформы, для удовлетворения же хищных appetитов временщиков деньги находились всегда! Следовательно, не в денежной потере было тут дело, а в той надменности, в том самолюбии, которое требовало, чтобы он, Григорий Орлов, был первым во всем. Не раз бывало, что, выиграв у небогатого человека крупную сумму денег, Григорий отказывался принять выигрыш и великодушно дарил долг несчастливому партнеру.

И все время, пока Тарквиния Колонна быстро-быстро лопотала какие-то милые, невинные глупости об искусстве, я с любопытством всматривался в игру страстей, так ярко отражавшуюся на надменном, жестоком, нагло-красивом лице фаворита императрицы.

Наболтав с три короба, Тарквиния утатила Адель и убежала с нею в парк.

— Ну, что же мы с вами делать будем? — сказал Алексей Орлов, с фамильярной ласковостью взяв меня под руку. — Знаете что? Давайте-ка мы закусим да выпьем! До ужина еще ноги протянешь, а у меня такая икорка есть, что пальчики оближешь! Ее монахи с Волги матушке-царице в презент прислали, матушка ее брату Григорию подарила, а Гриша со мной поделился. Ну и икра, я вам скажу! Малина! Молодцы — святые отцы!.. Знают толк в хороших вещах. Так пойдем, а?

В сущности говоря, есть мне не хотелось, но я отлично понимал, что буду в тягость хозяину, если не доставлю ему этого удобного способа занимать меня. А оставь он меня, так и еще того хуже: ведь я пока еще никого не знал среди гостей. Поэтому я дал Орлову увести себя к закусочному столу.

Еще издали мы видели, как у стола хорошенькая, вертлявая дама с пикантной родинкой около рта (как я потом узнал, это была княгиня Варвара Голицына, одна из бесстыднейших мессалин петербургского двора) кокетничала с галантным старцем Галуппи. Маэстро что-то с жаром говорил ей, потом налил себе большой стакан вина, единым духом опорожнил его,

предварительно щепнув княгине что-то такое, от чего она залилась звонким, чувственным смешком; затем они оба ушли под руку в сад, и все обратили внимание, с каким бесстыдством Голицына прижималась к старику.

— Ведь вот человек! — добродушно рассмеялся Алексей, посмотрев вслед оригинальной парочке. — Ему уже за шестьдесят, а ведь он во всех смыслах моложе молодого. Иногда ночь напролет с нами пропьянствует, а на другое утро, как ни в чем не бывало, уже за пультom и палочкой помахивает. А бабы его любят — просто страсть! Возьмите хоть Варьку — ведь она чего-чего не перевидала, каких только Адонисов своей благосклонностью не одаривала, ей-то уж есть, кажется, из чего выбирать, а вот, подите, липнет к старцу, прохода ему не дает! Молодец старик! И за что я его особенно люблю, так это за скромность. Знаете ли, царская милость имеет свои дурные стороны. Вот мы с братом Григорием уж, кажется, превознесены государыней превыше облаков. Да ведь зато она и держит нас на помочах. Узнай она, что я Тарквинию здесь открыто хозяйюшкой называю, так не оберешься потом нотаций! Пожалуй, царица даже способна Тарквинию за это из России выслать. А почему? Что я — государыне? Ну, еще брат Григорий, я понимаю... А я? Да вот поди ж ты! А ведь Галуппи, можно сказать, — свой человек у царицы, бывает запросто на всех домашних собраниях, вечерах и бьет ее ему чего

домашних эрмитажных вечерах, и бояться ему нечего, потому что государыня им очень дорожит. И хоть знает он, что стоит ему шепнуть государыне словечко про меня или про Григория, так царица ему хороший подарок сделает, — а ведь ни слова никогда не вымолвит. Вообще славный старик и хороший товарищ! Ну, да у нас вообще составилась кружок...

Сзади нас послышались твердые, отчетливые шаги.

Алексей обернулся и сказал:

— А, это ты, Гриша! Закусить идешь? Что ты хмурый какой? Проиграл, что ли?

— Да нет, — недовольно ответил Григорий, — не проиграл и не выиграл. То-то и обидно — никаких ощущений! Одну ставку проиграешь, другую выиграешь. Надоело!

Мы подходили как раз к столу. Алексей познакомил меня с братом.

— Очень рад! — сказал Григорий, надменно кивая мне головой. — Я слышал о вас много любопытного и интересного.

Мы уселись на уголке. Григорий ел стоя.

— Ну-с, — спросил меня Алексей, — удачно было ваше вчерашнее посещение посольства?

— Благодарю вас, граф, да, — ответил я. — Правда, посла я не застал, но меня принял первый атташе, маркиз де Суврэ.

— Рославлев, одну минутку! — крикнул Григорий,

завидев довольно пожилого офицера в мундире премьер-майора Измайловского полка.

Орлов поставил тарелку на стол и хотел подойти к майору, но имя маркиза де Суврэ, которое я назвал, заставило его остановиться.

— Маркиз де Суврэ, — продолжал я, — встретил меня очень любезно и был даже моим чичероне по Петербургу.

— Маркиз — вообще очень милый человек, — заметил Алексей Орлов.

— Маркиз де Суврэ, — сказал Григорий, с холодной злобой отчеканивая каждое слово, — плохой дипломат и двусмысленный интриган, и в самом непродолжительном времени я сделаю соответствующее представление о нем версальскому двору!

— Ну, это он так! — сказал мне Алексей, подмигивая в сторону брата, подошедшего к Рославлеву. — Любовишка тут замешалась! Да и не любвишка, а просто каприз, если хотите! И из-за кого? Из-за девчонки, которая, по-моему, выеденного яйца не стоит. Надо вам сказать, что недавно у нас при дворе появилась таинственная особа. Кто она, как ее зовут на самом деле, — этого не знает никто, кроме императрицы, которая ревниво бережет эту тайну. Несколько месяцев тому назад к царице привезли из-за границы очень молоденькую девушку, лет шестнадцати-семнадцати. В тот же день приезжую крестили по православному

обряду, а на другой день царица представила нам ее под именем Екатерины Алексеевны Королевой. Ну, имя и отчество нам ничего не сказали, а вот фамилия заставила призадуматься. Когда-то наша царица питала большую симпатию к Станиславу Понятовскому, теперешнему польскому королю. Уж не оттого ли девочка и Королевой прозвана? Ведь по всему похоже, что у этой девицы есть что-то родственное с Понятовским. Ну, да не все ли равно? Чья бы она ни была — нам-то не все ли едино? Посмотрели мы на барышню — ничего себе, так — ни рыба ни мясо, тоненькая, бледненькая, хрупкая, говорит нежным, слабым голосом, смущается, от всякого пустяка краснеет. Брат Григорий и не заметил бы ее, может быть, да девчонка с первого взгляда почувствовала какой-то глупый страх перед ним. Григория это задело, вот он и стал за девчонкой бегать. Да ведь не разбегаешься, когда каждую минуту двойная беда грозит: царица, во-первых, девчонке сильно покровительствует, а, во-вторых, брату больших вольностей насчет женского пола никак позволить не может. Ну а тут подвернулся маркиз де Суврэ. У молодых людей с первого взгляда завязался роман, к которому царица относится очень благосклонно. Она еще недавно сказала в кругу близких друзей: «Я свою Катеньку гораздо охотнее отдам иностранцу, чем русскому; наши, русские, слишком грубы и неотесаны и не смогут оценить такие

преlestное создание». Вот Григорий рвет и мечет. Ведь не может он ее любить, а самолюбие заело: почему Суврэ успел там, где он, непобедимый Григорий, потерпел афронт! Уж я ему не раз говорил: «Отступись, Григорий, не быть добру!» Так вот нет же! Ох, доиграется он!.. Тогда и нам несдобровать... Только, Бога ради, дорогой месье, — спохватился Алексей, сообразивший, что он ни с того ни с сего разоткровенничался перед незнакомым ему человеком, — все это — большой секрет, который отнюдь не должен выходить за порог этого дома! Я рассчитываю на вашу порядочность...

— Помилуйте, граф, — ответил я, обиженно пожав плечами, — может ли быть и речь...

— Ну да, ну да, — подхватил Орлов, — я понимаю, что вы не из того теста сделаны, из которого пекут шпионов и предателей. Недаром же я с первого взгляда почувствовал к вам такую симпатию и доверие, что забыл, как мало мы знакомы, и говорил с вами по душе, словно мы уже три пуда соли вместе съели... Однако брат возвращается, будем говорить о другом. Скажите, в какой именно пьесе явится перед нами впервые обольстительная Аделаида Гюс? Я слышал, что в «Заире», о которой вы рассказывали мне вчера с таким поэтическим пафосом.

Григорий Орлов во время этих слов молчаливо

уселся за стол и стал бокал за бокалом пить крепкое старое токайское. Должно быть, Рославлев сообщил ему что-нибудь неприятное, потому что после разговора с ним Орлов вернулся к столу туча-тучей. Он был бледнее, чем прежде, жилы на висках у него сильно напрялись, и по манере пить вино сразу было видно, что он заливал им что-то тяжелое и неприятное.

На вопрос Алексея я подтвердил, что первый дебют Адели предположен именно в вольтеровской пьесе «Заира».

— Значит, мы скоро увидим ее? — продолжал Алексей.

— Скоро, скоро! — ответил за меня Григорий. — Денька через два сюда пожалует этот ангальт-кетен-плеский остолоп, в честь женишка будут давать разные представления, тогда и состоится первый выход Гюс... Кстати, знаешь ли ты, что мне сейчас Рославлев сказал? Оказывается, Николашка случайно видел остолопа в прошлом году, когда ездил с делегацией в Берлин. Хитрая механика подведена! Ведь принц Фридрих по непонятной игре природы — вылитый Станислав Понятовский в юности! Ну, да...

Алексей повел глазами в мою сторону, и Григорий осекся и заговорил сейчас же по-русски. Я слышал имена Панина, Дашковой и Воронцовой, и этого мне было достаточно, чтобы понять, о чем шла речь. Ведь из вчерашнего разговора с Суврэ я уже знал, что Панин

повел подкуп против Орловых с новой стороны и что по его настоянию императрица Екатерина выразила согласие принять Фридриха Эрдмана, принца крошечного княжества Ангальт-Кетен-Плес, которого ей прочил в женихи Фридрих Великий. Знал я также, что в виде ответного шага Орловы уговорили царицу простить Елизавету Воронцову и вернуть ее ко двору – это должно было уронить шансы княгини Дашковой, а следовательно, и Панина.

Но братья обменялись по-русски лишь парой фраз и затем опять перешли на французский.

– Так, значит, в «Заире»? – сказал Алексей, как бы продолжая прерванный разговор. – Ну, что же, посмотрим, посмотрим!

– А она действительно такая хорошая актриса, как о ней кричали? – резко спросил Григорий, который не переставая пил стакан за стаканом.

– Я считаю Аделаиду Гюс самой талантливой артисткой парижской сцены, – ответил я. – Конечно, она еще молода и неопытна...

– Ну, это на сцене она, может быть, и неопытна, – с неприятным смехом перебил меня фаворит императрицы, – а вот в жизни, по слухам, девица Гюс – тонкая шутка! Говорили, что она чуть-чуть было не обошла вашего расслабленного старичка-короля, да старая карга Помпадур вовремя вмешалась!

– Граф – сухо остановил я его. – вы. должно быть.

забыли, что говорите о моем государе и о девушке, которая мне близка, как сестра!

— Я говорю о том, о чем хочу, — небрежно кинул надменный фаворит. — Уж не вы ли будете учить меня, о чем можно говорить и о чем нельзя?

— О, нет, — спокойно ответил я, — я не берусь обучать правилам благопристойности дурно воспитанных людей!

Орлов побледнел, жилы на висках надулись у него еще больше. Его глаза с такой угрозой, с такой холодной яростью уставились на меня, что я тут же дал себе слово (и сдержал его) никогда больше не выходить в России из дома без пары заряженных пистолетов.

Но Алексей успел подскочить к нему и что-то щепнуть на ухо. Григорий стиснул под столом пальцы рук так, что кости громко затрещали.

— Однако! — сказал он, принужденно улыбаясь. — Недаром вас прозвали с первого дня рыцарем без страха и упрека! Не много найдется людей, которые решатся говорить так с Григорием Орловым, как это сделали вы! Но я сознаю, что был не прав. Вот моя рука! Докажите, что вы не сердитесь, и пожмите ее!

Я пожал протянутую мне руку, но ни со стороны графа, ни с моей особой сердечности в этом рукопожатии не сказалось.

— Однако ведь я вам еще не показал своего парка, — сказал Алексей. — Вам когда-нибудь приходило в

сказал Алексей. — Если хотите — пройдемтесь!

Григорий хрипло расхохотался.

— Да брось ты, Алеша! — сказал он. — От меня ты его уводишь, что ли? Не съем я твоего гостя, не бойся! Вообще я скоро уйду, уж ты извини, ужинать я не останусь, не по себе мне что-то. Ну, давайте чокнемся с вами, господин рыцарь без страха и упрека.

Мы чокнулись.

В этот момент к столу, весело щебеча что-то, подошла Адель, окруженная целым роем мужчин, которые принялись наперерыв предлагать ей вина и закусок. Григорий Орлов посмотрел на нее, и даже стакан с вином заплескал у него в руках.

Действительно у Адели был, что называется, ее счастливый день. Она была удивительно авантажна, и все, что было в ней привлекательного, еще рельефнее выступило наружу, а все некрасивое, угловатое куда-то спряталось, затушеввалось.

Заметив впечатление, произведенное Аделью на Григория, Алексей Орлов сейчас же сказал:

— Простите, божественная, вы, кажется, еще незнакомы с моим братом?

Он, вероятно, ждал, что Адель сейчас же сама подойдет к всесильному фавориту или так или иначе выкажет радостную готовность заинтересовать собой влиятельного человека. Но Адель удовольствовалась тем, что через плечо кинула:

– Нет еще, не удостоилась этой чести!

Сказав это, она продолжала говорить с окружающими ее кавалерами.

Григорий Орлов усмехнулся, встал, подошел к Адели, бесцеремонно взял ее руку, поцеловал, затем осмотрел с ног до головы с оскорбительной внимательностью и сказал:

– Знаете, барышня, вы мне нравитесь!

Адель церемонно присела и насмешливо ответила:

– Страшно польщена этой честью, граф, и скорблю, что наши чувства не взаимны; вы мне не нравитесь!

– Но почему же? – уже совсем глупо спросил оторопевший от неожиданного реприманда фаворит.

– А потому, что я не люблю и не привыкла, чтобы со мной говорили в таком тоне! – ответила Адель, после чего, еще раз церемонно присев перед графом, отвернулась от него и заговорила с одним из кавалеров.

Алексей Орлов громко захохотал.

– Что, брат Гриша, не повезло тебе! – шутливо сказал он.

– Не повезло! – ответил Григорий, пренебрежительно пожав плечами. – Что значит «не повезло»? Просто барышне почему-то захотелось представить себя исключением из всего женского пола. Ведь я не знаю ни одной женщины, которая не была бы довольна узнать, что она нравится!

– Это доказывает, что вы не знаете женщин, граф! –

заметила Адель, повернувшись к фавориту. — Женщине всегда приятно видеть и сознавать, что она нравится, но, когда ей говорят об этом в таком тоне, в котором ясно звучит: «Для тебя большая честь, что даже я сам признаю твое обаяние»... Знаете, граф, надо быть очень нетребовательной и быть о себе очень плохого мнения, чтобы комплимент такого дурного тона мог понравиться!

Я не знаю, что именно ответил Григорий Орлов на слова Адели, так как в этот момент на веранду вбежала веселая Тарквиния и шаловливо утащила меня в парк.

— Да что вы там к месту приросли? — щекотала она. — Вас дамы ждут не дождутся, а вы забились в уголок, да и сидите. Знаете, даже досадно, что вы дали обет целомудрия...

— Но помилуйте, прелестная синьорина, — шутливо ответил я, — уверяю вас, что я никогда не давал такого вздорного обета! Да и к чему послужили бы мне всякие обеты, — с комическим вздохом добавил я, — когда приходится идти под руку по темному парку с таким прелестным созданием?

— Лстец! — засмеялась Тарквиния, дернув меня свободной рукой за ухо. — Ну, да вы потому так храбры теперь, что знаете — у меня не пообедаешь. Со мной вы в безопасности, потому вы это и говорите. А вот скажите-ка это любой другой даме, которая не так строго смотрит на приватность и одиночество!

на привязанность к одному:

Перекидываясь шутками, мы вошли в одну из беседок, где сидело несколько дам. Тарквиния познакомила нас, и мы премило проболтали некоторое время. Затем, продолжив прогулку с несколькими дамами, мы зашли в другую беседку, в третью, и везде меня с кем-нибудь знакомили.

И мне бросилось в глаза одно странное обстоятельство: со мной говорили и обращались с каким-то заметным почтением, как-то совсем особенно, и во взглядах мужчин и дам я видел устремленный ко мне какой-то тревожный, любопытный вопрос. Словно я был не француз, а житель другой планеты, словно был создан из другого теста, чем все остальные. Таким образом я убедился, что басня, сплетенная Аделью, получила всеобщую известность.

Конечно, я не миновал знакомства с княгиней Варварой Голицыной. Она взяла меня под руку и утащила в самую глухую аллею, где завела со мной выпренный разговор на тему о необходимости торжества духа над грязными велениями плоти. Конечно, я понимал, что моя особа представляла для распушенной княгини такой редкий экземпляр, какого еще не было в ее коллекции, а потому, желая завлечь меня, она пыталась говорить со мной в таком тоне, какой, по ее мнению, должен был быть мне ближе всего. В душе я хохотал, сознавая, что прелестная княгиня

только и жаждет подчиниться «грязным велениям плоти», и был очень доволен, что ее говорливость избавляет меня от необходимости отвечать ей.

Княгиня как раз развивала какую-то сложную и тонкую теорию о наилучших способах борьбы с мятежной плотью, когда по парку гулко и звонко поплыли певучие звуки гонга.

— Ужинать зовут! — сказала княгиня радостным тоном, в тот же момент забывая о «борьбе с мятежной плотью». — Ну-с, пойдёмте! Помните, вы будете моим кавалером за столом! У Орлова заведен прелестный обычай: общего стола нет, а в зале расставлены столики разной величины, и каждый усаживается, с кем хочет. Я оставлю вас на веранде и побегу занять столик на двоих. Смотрите же, ждите меня?

Я торжественно обещал княгине лучше пустить корни и вращаться в террасу, чем сойти оттуда без нее, после чего повел ее по аллее к сверкавшему (со стороны парка) огнями дому. На веранде Голицына выпустила мою руку и убежала в зал.

В двух шагах от меня стояла Адель, рассматривавшая дивную мраморную группу «Амур и Психея». Я хотел подойти к ней, но меня опередил Григорий Орлов, только что пожавший на прощанье руку брату и собиравшийся уходить. Он подошел к Адели и с силой сказал ей:

— А все-таки вы мне нравитесь, хотя вы и злы, как

пантера! Но погодите, маленький зверек, я еще обломаю вам когти! Вы достаточно прелестны, и вами стоит заняться!

Сказав это, он повернулся и ушел. Адель с задумчивой мечтательностью посмотрела ему вслед, и я слышал, как она прошептала:

— Этого человека я, кажется, могла бы даже полюбить!

VII

Несколько следующих дней мне почти не приходилось видеть Адель, так как готовились спектакли по случаю приезда принца Фридриха и в театре репетиция шла за репетицией. Но Адель не только не досадовала, а даже радовалась этому. Она понимала, что артистка, сумевшая сразу завоевать публику, будет и как женщина иметь несравненно больший успех. Кроме того, она все же любила свое дело. Поэтому она работала с самозабвением, иной раз забывая даже про еду.

Я же тем временем много гулял, знакомясь с Петербургом, в чем мне усиленно помогал милейший маркиз де Суврэ, с которым я быстро и прочно сошелся. Это был прелестный человек — веселый, остроумный, жизнерадостный, смелый и ловкий. К тому же он обладал большим повествовательным даром, и я хохотал

осладал большим повествовательным даром, и я жаждал до слез, когда он с необыкновенным юмором рассказывал мне некоторые эпизоды из первых шагов в Петербурге принца Фридриха Эрдмана.

Действительно принц Фридрих отличался такой же глупостью, как и красотой. К тому же он был совершенно необразован и интересовался лишь военным строем. Впрочем, он и не знал почти ничего другого, так как все его воспитание состояло в подготовке к военной службе, которую он проходил в армии Фридриха Великого, где дослужился до чина капитана.

Однако расчеты Панина основывались именно на красоте и глупости жениха. Он отлично понимал, что Екатерина II скорее сделает своим супругом представительного дурака, чем умного, энергичного, властного мужчину. Ведь брак нужен был ей лишь как уступка общественному мнению Европы. Но она сама знала, каким неудобством является для царствующего государя, когда принцем-супругом или императрицей-женой делается энергичная, деятельная, умная особа. Деятельный человек не помирится с второстепенной ролью и будет искать всей полноты власти, а энергия и ум позволят ему добиться такого переворота. Подобной натурой была и она сама, принцесса Ангальт-Цербстская, и результаты были налицо! Петра III не было и в помине, а на престоле воссела она, которой

было предназначено лишь услаждать часы повелителя, но не повелевать самой. Так неужели же она, Екатерина, известная своей зоркостью и проницательностью, создаст без особой необходимости себе такую опасность?

Нет, Панин отлично понимал, что лишь глупый человек может иметь у Екатерины какой-нибудь шанс на успех. Да умного мужа Екатерине не желал и он сам. Ведь замужество государыни было для него лишь целью свалить ненавистных Орловых, которых неудобно будет оставить при дворе в первое время после брака. Ну стоит Екатерине не видеть своего Гришеньку хотя бы три месяца, как потом она уже не пустит его на глаза, а если и пустит, то во всяком случае не даст ему прежней воли. Ну, а если отстранить Орловых, первая роль в государственных делах сама собой отойдет к нему, Панину. Поэтому-то хитрый граф Никита с такими надеждами и нетерпением ожидал прибытия принца.

Однако уже с самых первых шагов принца возникло опасение, что он окажется чересчур глупым, и эта глупость подчеркивалась еще более крайней робостью и плохим знанием французского языка. Иной раз принц и хотел бы ответить что-нибудь галантное, остроумное, и фразу-то составлял в уме очень эффектную, но не умел выразить ее и принужден бывал в таких случаях ограничиваться коротким «да» или «нет».

Даже первый момент его свидания с императрицей

ознаменовался именно таким анекдотом. Прусский посланник, которому было поручено наставлять принца на всех путях его, основательно напел глуповатому принцу ряд отличных, галантных фраз, причем проэкзаменовал его «в разбивку», то есть убедился, что принц заучил эти фразы не механически, а сумеет ответить и в том случае, если вопросы императрицы будут ставиться не в том порядке, в каком предполагал их посланник. Только он не учел того обстоятельства, что это преподавание велось на немецком языке, а главной трудностью для принца было складно ответить по-французски. Поэтому-то все вышло глупо до неприличия.

Выйдя навстречу принцу, Екатерина ласково приветствовала его, напомнила, что они находятся в родстве, и заметила, что она вообще дорожит родными и родством.

– Таким образом, – закончила она, сопровождая свои слова очаровательнейшей улыбкой, – я особенно рада приветствовать вас, мой кузен, как родственника!

У принца в голове вертелась отличнейшая фраза, но – увы! – по-немецки. Поэтому он сначала неприлично долго молчал, а потом с трудом пробормотал:

– О, да! Дорожить родными – хорошая черта!

Придворные, бывшие на приеме, рассказывали, что им стоило нечеловеческих трудов сохранить спокойствие и не прыснуть со смеху при этом ответе.

Екатерина закусила губу и спросила:

– Какое впечатление произвела на вас Россия?

– О, Россия – очень живописная страна, ваше величество! – ответил принц и необдуманно прибавил: – Только уж очень много блох...

Многими из придворных овладел неудержимый приступ кашля.

Императрица поспешила уверить принца, что в покоях, которые отведены ему во дворце, он будет избавлен от этой «мелкой неприятности». В ее тоне звучала столь явная насмешка, что принц, и без того опасавшийся, уж не сказал ли он чего не следует, смутился еще более.

– О, ваше величество! – с укором воскликнул он. – Ведь я не имел в виду дворца вашего величества!

Чем дальше в лес, тем больше дров. Императрица поспешила отказаться от такой опасной темы, как блохи.

– Вообще, – сказала она, – мы постараемся сделать вашу жизнь как можно более сносной и интересной. Мне удалось собрать очень хороший состав оперной, балетной и драматической трупп, и театром мы можем похвастаться. А вы любите театр, принц?

– Нет, ваше величество!

– Почему?

– Да, по правде сказать, я и сам не знаю почему, ваше величество!

императрица поняла, что затягивать дальше официальную аудиенцию, значит, сознательно искать скандала; поэтому она сказала несколько любезно-незначительных фраз, выразила надежду, что принц полюбит театр, если увидит действительно выдающихся артистов, и представила ему графа Григория Орлова, назначенного ею состоять при особе его высочества. Этим аудиенция была окончена, и Орлов увел принца в отведенные ему покои.

Но там принца уже ожидала группа известных зубоскалов, состоявшая из клеветников Орлова. Последний попросил разрешения представить их принцу, и, когда разрешение было дано, началась довольно непристойная травля.

Для затравки граф Валентин Мусин-Пушкин, умница и очень образованный человек, добровольно игравший роль шута при дворе, заявил, что в России очень высоко ставят и почитают гений державного дядюшки принца, короля Фридриха II, и это видно из того, как интересуются в Петербурге всеми делами внутреннего управления Пруссии. Поэтому-то он и пользуется случаем узнать, верен ли слух, будто Фридрих поручил известному законоведу Марку Цицерону^[6] преобразовать юридическую часть королевства.

Принц развалился в кресле, закинул ногу за ногу, принял чрезвычайно важный и глубокомысленный вид

и ответил небрежным тоном:

– Э... знаете ли, милый граф... Это решено далеко еще не окончательно! Его величество король недавно говорил мне, что он не уверен в благонадежности этого господина!

– Ну, да, – подхватил Мусин-Пушкин, – мы слышали об этом. Но ведь эти сомнения навеяны его величеству благодаря проискам тайного советника Сократа^[7], личного врага Марка Цицерона! А ведь мне передавали вполне достоверно, что тайный советник Сократ впал в немилость, и его отставки ожидают с часу на час!

– Да, я перед отъездом слышал что-то об этом, – ответил принц, – но, знаете ли, его величество не так легко расстается с людьми, с которыми работал долгое время!

В том же духе принц отвечал и на другие вопросы, в которых фигурировали знаменитейшие герои древности с прибавлением современных чинов, титулов и званий. Необразованность, умственное убожество и дурное воспитание принца были подчеркнуты еще рельефнее и нагляднее.

И все-таки его шансы у самой императрицы были далеко не малы. Как достоверно стало известно маркизу де Суврэ, Екатерина, расставшись с принцем после первой аудиенции, сказала Нарышкиной –

единственному человеку, с которым она в то время была вполне откровенна — следующее: «Боже, как он глуп... но зато как красив!» — с мечтательным вздохом прибавила она, и по тону голоса можно было понять, что последнее обстоятельство перевешивало в ее глазах первое.

Когда же ей донесли об издевательствах, учиненном клеветами Орлова над глупеньким принцем, Екатерина вспыхнула и сказала:

— Ах, так? Они хотят этим подействовать на мое решение. Ну так Орловы ошибаются! И если даже я не решусь сделать принца своим мужем, то... то он достаточно красив для того, чтобы Орлову не стало легче от этого!

С этого момента Екатерина окружила принца нежной заботливостью, стараясь незаметно направлять его речь и затушевывать все сказанные им глупости и неловкости. В атмосфере этого ласкового внимания Фридрих Эрдман смог побороть свою застенчивость, отвечал не так уж бесповоротно глупо, а иногда под счастливую руку подавал блестящие по своей дипломатической тонкости реплики, которые производили особенно сильное впечатление в его устах, так как в хитрости и лукавстве принца заподозрить не мог никто.

Так, однажды, после представления итальянской оперы, императрица спросила принца, не находит ли

он, что артистки труппы все очень хорошенькие женщины, одна лучше другой. Принц добродушно ответил, что даже не заметил этого.

— Боже мой, принц! — с шутливым негодованием сказала императрица, — но вы, вероятно, страдаете слабым зрением?

— Государыня, — ответил принц, — когда светит солнце, самое лучшее зрение не поможет видеть звезды!

И, говоря это, он при слове «солнце» так изящно и многозначительно поклонился императрице, что Екатерина вспыхнула, словно молоденькая девочка, и положительно обласкала взглядом принца Фридриха.

— Конечно, — смеясь говорил мне по этому поводу Суврэ, — недаром же и в Писании сказано: «Блажен, иже и младенцев умудряет». Вообще я нахожу, что «нищие духом» награждены уж чересчур большими привилегиями. В будущей жизни им обещано Царство Небесное, а в настоящей — какой-нибудь принц Фридрих легко подбирается к земному царству. И это ему тем легче, что он действительно похож на Понятовского в молодости, ну, а вы знаете, что старая любовь никогда не ржавеет. Императрица не раз увлекалась, но лишь один Понятовский может похвастаться тем, что затронул и чувства, и душу Екатерины. Принц Фридрих пользуется успехом за чужой счет. Ну, да это было предусмотрено заранее! Недаром Орловы так всполошились! — Маркиз де Суврэ засмеялся и

продолжал: — Да, Григорий Орлов делает мне всякие гадости, а между тем я мог бы уничтожить его одним словом! Я ведь нахожусь в курсе всех сложных интриг петербургского двора и знаю всю ту хитрую механику, которую подводят Орловы под принца. Если бы я ставил личную неприязнь выше государственных дел, я разоблачил бы их козни; но Франции слишком невыгодно преобладающее влияние Пруссии на здешний двор. Поэтому я довольствуюсь ролью простого зрителя. Но потом, когда кандидатура принца Фридриха будет отстранена, я не откажусь от удовольствия посмотреть, что сделает и скажет императрица, когда фокусы Орловых будут разоблачены...

— А в чем же выражаются эти «фокусы», маркиз? — поинтересовался я.

— О, это какая-то странная смесь наглости и наивности! Впрочем, по Сеньке и шапка! Для такого дурачка, как принц Фридрих, все эти меры могут оказаться вполне действенными... Его дурачат на разные лады. По ночам к нему является тень его покойного отца, которая закликает принца отказаться от безумного намерения и скорее бежать из России, а днем с ним происходит ряд разных неприятностей. То у принца при поклоне лопнет необходимейшая часть туалета — разумеется, предварительно подпоротая, то у него по неизвестной причине слетит парик, то вместо вина у принца в стакане окажется уксус, а тут еще

вида у принца в стакане окажется укус, а тут еще императрица непременно хочет чокнуться с ним и выпить за его успехи. А потом ночью опять является тень отца и начинает уверять, что все эти мелкие неприятности – лишь преддверие к настоящим бедам, которые ниспослет небо непокорному сыну. И действительно неприятности начинают приобретать все более и более опасный характер. Вчера, спускаясь по главной лестнице дворца, принц споткнулся о протянутую поперек лестницы веревку и только по счастью не разбился. Затем, когда он сел в карету, лошади по неизвестной причине взбесились и понесли. Только чудом удалось удержать их. Словом, принц начинает серьезно задумываться. Он плохо спит, почти лишился аппетита, вздрагивает от малейшего шума... Надо полагать, что господа Орловы все-таки добьются своего, и глуповатый принц убежит без оглядки обратно под крылышко Фридриха Второго. Ну что же, когда это случится, мы посчитаемся с господами Орловыми! – закончил маркиз, улыбка которого не обещала фавориту императрицы ничего хорошего.

VIII

Следуя желанию императрицы, Григорий Орлов назначил у себя в честь принца Фридриха вечер, по образцу знаменитых «эрмитажных». Так как мне

пришлось впоследствии побывать и на самих «эрмитажных», то, чтобы потом не повторяться, опишу сейчас, в чем состояли эти вечера и какими правилами обуславливались доступ и пребывание на них.

Вступив на трон, императрица захотела отвести себе во дворце такой уголок, где она могла бы отдыхать в уединении, предаваясь любимым развлечениям и беседуя с интересными ей людьми, вне какого бы то ни было этикета. Для этих собраний были отведены определенные залы Зимнего дворца, и Екатерина прозвала их «Эрмитажем»^[8], намекая этим на уединенность от внешнего блеска и великолепия трона. Через два года после того времени, к которому относится мой рассказ, императрица поручила архитектору Валлен де Ламотту выстроить для собраний особое здание, которое и получило тогда название «Эрмитажа». Но во время моего первого приезда в Россию этим именем называлось не какое-либо здание, а лишь частные вечера у императрицы; вечера же, устраиваемые по образцу их у приближенных Екатерины, именовались «эрмитажными».

На эрмитажные собрания Екатерина приглашала лишь тех, кто был ей приятен или интересовал ее умом или талантом. Чин, ранг, занимаемое общественное положение при этом совершенно не принимались во внимание. Так, например, ни наш, ни прусский посол ни разу не были приглашены на них, а атташе французского

посольства, маркиз де Суврэ, был частым и желанным гостем. На этих вечерах приглашенным предоставлялась полная свобода с условием не мешать другим. Здесь императрица слушала чтение новых стихов или пьес русских поэтов, смотрела любительские представления, играла в карты. Если на вечере появлялся какой-нибудь новый интересный человек, Екатерина вступала с ним в оживленную беседу. Если приглашения удостаивался какой-нибудь артист, его просили спеть или прочитать что-нибудь.

Когда на собрании не присутствовали иностранцы, гости обязаны были разговаривать не иначе, как по-русски; это правило было введено мудрой императрицей потому, что в то время в высшем обществе существовала излишняя приверженность к французскому языку, которая могла лишь льстить нам, французам, но мешала развитию русской словесности; действительно, не редкость было встретить сановника, который говорил по-французски не хуже истинного парижанина, а по-русски изъяснялся с трудом.

Всякий этикет был совершенно отброшен, следование ему каралось штрафом. При проходе императрицы или при ее обращении к кому-либо гостям запрещалось вставать. Все это было оговорено в правилах, составленных самой Екатериной и вывешенных при входе в зал. Эти правила заключались

«1) Оставить все чины за дверью, равно как и шляпы, а наипаче шпаги.

2) Местничество и спесь или тому что-либо подобное, когда бы то ни случилось, оставить за дверью.

3) Быть веселым, однако же ничего не портить, не ломать и ничего не грызть.

4) Садиться, стоять, ходить, как заблагорассудится, несмотря ни на кого.

5) Говорить умеренно и негромко, дабы у прочих там находящихся уши и головы не заболели.

6) Спорить без сердца и без горячности.

7) Не вздыхать и не зевать и никому скуки или тягости не наносить.

8) Кушать сладко и вкусно.

9) Пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выхода у дверей.

10) Сору из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выступить из дверей.

Если кто противу вышеписанного проступится, то, по доказательству двух свидетелей, за всякое преступление должен выпить стакан холодной воды, не исключая и

дам, и прочесть страницу Тилемахиды^[2]. А кто противу трех статей в один вечер проступится, тот повинен выучить шесть строк Тилемахиды наизусть. А если кто против десятой статьи проступится, того более не впускать».

При входе в зал собраний висело кроме того другое объявление, тоже составленное самой императрицей. Оно гласило:

Извольте сесть, где хотите,
Не ожидая повторения:
Церемоний хозяйка здешняя ненавидит и
в досаду принимает;
А всякий в своем доме волен.

На собраниях у самой Екатерины все эти правила соблюдались в точности, но у других им следовали лишь отчасти. Конечно, все, что касалось поведения гостей по отношению к императрице, соответствовало ее желанию, но стоило ей уйти (а императрица редко оставалась к ужину), как статья девятая: «Пить с умеренностью» — отбрасывалась в сторону, и очень многие не могли потом «найти свои ноги для выхода у дверей», так что их приходилось на руках сносить вниз и бесповоротным толком сажать в кареты. Не соблюдался

осуществленным телом сажать в кареты. Не соблюдалась также и десятая статья: по желанию самой императрицы «сор из избы» тщательно выносился, так как при сильно развитой в то время системе взаимного шпионства Екатерине потом доносили, что сказал тот-то или тот-то под пьяную руку. Правда, к чести Екатерины надо сказать, что на основании этих доносов она никогда никого не преследовала: она просто проверяла этим способом искренность своих приближенных.

Но насколько часты бывали эрмитажные собрания у самой Екатерины, настолько же редко происходили они у ее приближенных. Ведь хозяину приходилось приглашать не тех лиц, которые были приятны ему самому, а тех, кого хотела видеть императрица. И получалась некая двойственность: с одной стороны – на вечере как бы царила милая непринужденная свобода, с другой – благодаря необходимости быть в качестве хозяина любезным с неприятными людьми – чувствовалась натянутость. Вот поэтому-то такие собрания устраивались приближенными императрицы лишь по необходимости.

В данном случае была полная необходимость: императрица напрямик выразила желание и сама указала характер вечера и приглашаемых гостей. Сначала должны были быть устроены танцы для желающих, а нетанцующие могли заняться картами или разговором. Затем следовал ужин за столиками в большом зале. Во

время ужина должен был играть оркестр, а приглашенные в качестве гостей на равных с остальными правах артисты – увеселять общество своим искусством. А для того, чтобы артисты не чувствовали себя ниже остальных вследствие необходимости вставать из-за столика для исполнения своего номера, в программу были включены также и великосветские любители и любительницы. Между прочим сам Алексей Орлов должен был протанцевать русскую с княгиней Варварой Голицыной.

Среди приглашенных артистов были Тарквиния Колонна и Адель, очень понравившаяся императрице на своем первом дебюте, а чести получить приглашение в качестве простого гостя удостоился, между прочим, и ваш покорный слуга.

Сначала, когда пришло письменное приглашение Орлова пожаловать к нему «запросто», я твердо решил уклониться от этого посещения, так как и сам Григорий Орлов был мне не симпатичен, да и казалось слишком нелепым находиться рядом со столькими высокопоставленными особами. Но Тарквиния, заехавшая к Адели, рассказала нам, что мое приглашение состоялось по желанию самой императрицы, заинтересованной ходившими обо мне рассказами. А главное, узнав о моем нежелании ехать к Орлову, Адель категорически заявила: «Глупости! Ты поедешь!» – я же был обязан ее слушаться.

И так случилось, что я, ничтожный Жак Тибо Лебеф де Бьевр, недавний мелкий клерк у нотариуса, а ныне секретарь распутной артистки, попал в общество императрицы всероссийской и цвета русской знати. Этим я был обязан тому лживому ореолу, которым окружила мое имя хитрая Адель, и на первых порах чувствовал себя очень скверно, как настоящий самозванец. Но люди привыкают ко всему, и самая дерзкая ложь от частого повторения приобретает отсвет правды. Вскоре я начал сам себе казаться чище и выше, чем был на самом деле.

IX

Когда мы с Аделью приехали, у Орлова собрались уже почти все приглашенные. Не было только принца Фридриха Эрдмана и самой императрицы; но ее, как мне потом сказали, и не ждали так рано.

Сам хозяин, Григорий Орлов, буквально сиял восторгом и счастьем и прилагал все меры, чтобы оживить гостей. Однако разнородность состава давала себя знать, и как могла, например, веселиться и чувствовать себя хорошо маленькая хорошенькая Дашкова, если она знала, что охлаждением к ней императрицы она обязана тому самому Григорию Орлову, который теперь старался выказать ей всяческие знаки внимания; ему же она была обязана и тем, что на

эпик в пинации, ему же она была обязана и тем, что на том же самом вечере ей предстояло встретиться с ненавистной сестрой, которая была прощена императрицей Екатериной и взята ею к себе в фрейлины. Конечно, все собравшиеся были достаточно хорошо воспитанными людьми, чтобы уметь скрывать свои истинные чувства, но внутренней теплоты не было, и потому не создавалось общей приятной атмосферы.

Орлов встретил нас почти при самом входе в зал, где замирали последние аккорды менуэта. Когда он увидел Адель, в его взгляде что-то блеснуло. Он подошел к нам, и мы несколько минут поговорили. Тут оркестр заиграл медленную, плавную, убаюкивающую мелодию вальса – нового танца, только что входившего в моду, и Орлов, склонившись к Адели, сказал ей:

– Тур вальса, сударыня?

Адель кивнула головой.

Тогда, обращаясь ко мне, Орлов сказал:

– Вы уж извините, месье де Бьевр, тут у нас без всяких фасонов. Каждый делает, что хочет, и развлекается, как умеет. Если хотите танцевать, смело приглашайте даму. Хотите перекинуться в картишки – в одной из гостиных раскинуты столы. Словом, вполне свободно располагайте собой.

Орлов и Адель закружились в плавном ритме красивого «круглого» танца, а я остался стоять на месте,

любуюсь ими. Что это была за прелестная парочка! Мощный дуб и приникнувшая к нему лозинка! Орел, уносящий в мощном размахе крыльев нежно прижавшуюся к его широкой груди голубку! Хищный тигр, в минуту безумья страстно слившийся в объятиях с красивой, лукавой змейкой!

Вдруг из созерцательной задумчивости меня вывело легкое прикосновение веера к плечу: передо мной была обольстительная княгиня Варвара Голицына.

— Задумчив, мечтает! — с ласковой насмешкой сказала она. — Полно вам! Пойдемте танцевать!

Я сделал в ответ строгое лицо и воскликнул (будто слово «танцевать» оскорбило меня в моих самых священных чувствах):

— Танцевать! Служить греху! Всенародно обнимать женщину и парадировать в сладострастных движениях величайший и отвратительнейший грех! И вы хотите, чтобы я участвовал в такой мерзости?

Лицо Голицыной приняло такой испуганный вид, что я невольно расхохотался.

— Ага! — смеясь продолжал я, — я испугал вас. Это — маленькая, невинная месть за те насмешки, которыми вы донимали меня в прошлый раз по поводу моего реноме Прекрасного Иосифа, неизвестно как создавшегося. Нет, дорогая княгиня, я очень люблю танцы, хотя сам и не танцую: в ранней юности я был слишком занят книгами, чтобы найти время для танцев и веселья.

— Ну, что же делать, — улыбаясь ответила княгиня, — значит, мне придется отказаться от этого удовольствия. Но мой испуг вполне понятен: в прошлый раз вы говорили многое такое, что уместнее слышать в устах старого монаха.

— Но и монах скажет вам, княгиня, что сам Давид плясал от радости перед Ковчегом Завета.

— Разве? — с задорной улыбкой сказала Голицына. — Представьте, а я и не знала этого! Правда, я очень слаба в Писании, но о Давиде я много кое-чего знаю, хотя и не столь душеспасительного... Ну, да раз вы не танцуете, тогда пойдемте в одну из гостиных и там на досуге поговорим хотя бы о Давиде и об... Иосифе Прекрасном! — прибавила она, весело блеснув умными, дерзкими глазами.

Я предложил ей руку, и мы пошли анфиладой комнат.

В одной из них стояли два ломберных стола, за которыми чинно и степенно играли в какую-то коммерческую игру сановные старички. Далее в полутемном уголке на диване за трельяжем сидела парочка, вздрогнувшая от шума наших шагов. Это были Панин и Дашкова.

— Господи! — шепнула мне Голицына, — вот чего никогда не могла понять! Ну, стоит ли тратить свои юные годы на политику! Когда мне будет лет шестьдесят и придется волей-неволей отказаться от служения моей

и придать всем людям столько же счастья, сколько и великой патронессе Венере, тогда и я, быть может, займусь плетением хитрых дипломатических кружев. Но Дашкова молода, она — женщина в лучшем смысле этого слова! Воображаю, как протекают их любовные свидания! Между двумя поцелуями и объятьями они рассуждают о государственном курсе и о ходе иностранной политики! Уроды!

Мы вошли в довольно большую комнату, где за одним из столов шла крупная азартная игра. Алексей Орлов, шумно и весело председательствовавший здесь, послал мне и княгине воздушный поцелуй и преуморительно подмигнул глазом.

Мы прошли еще дальше, уселись на бержерке в уютной гостиной, где, кроме нас, никого не было, и завели милый, легкий разговор, на который Голицына была большой мастерицей.

Мимо нас то и дело проходили другие гости, однако как мы на них, так и они на нас никакого внимания не обращали: здесь было не в обычае мешать друг другу.

Но вдруг мое внимание привлек голос, раздавшийся из соседней комнаты. Слов я разобрать не мог, но сам голос покорял и нежил какими-то неведомыми чарами. Он слышался все ближе и наконец, в самых дверях, я услышал другой голос, по которому сразу узнал маркиза де Суврэ, спрашивавшего:

— Так вы думаете, что его величество...

— Я думаю, — послышался певучий ответ, — что его величество король Адольф Фридрих губит государство и себя, позволяя руководить собой женщине, у которой больше энергии, чем государственного ума. Уже история пятьдесят шестого года показала, что ее планы и начинания недостаточно продуманы. Нельзя бороться против всей народной массы, надо действовать исподволь, осторожно, надо выбирать момент для обуздания народа!

Я понял, что дело идет о шведском короле Адольфе Фридрихе (дяде покойного императора Петра III) и его жене, сестре прусского короля, страдавшей манией властолюбия и толкавшей слабовольного Адольфа на ряд поступков, которые должны были укрепить расшатанную королевскую власть, но на самом деле колебали ее еще больше. Так, в тысяча семьсот пятьдесят шестом году шведская королева устроила целый заговор с целью подавить разраставшееся народоправие, но дело кончилось массой казней и усилением конституционализма.

— Да, — продолжал все тот же певучий голос, — глупый персидский царь приказал высечь море, но оно все же не успокоилось, а умный моряк льет на взбушевавшиеся волны масло и спокойно плывет далее; в политике же «без масла» и вовсе шага не сделаешь!

Вслед за этим чисто макиавеллевским афоризмом в дверях показался высокий, плечистый, атлетически

сложенный господин, одетый со странной смесью изящества и небрежности. Он был очень гибок и строен. Его красивое, приятное лицо портило при ближайшем рассмотрении отсутствие одного глаза. Судя по выговору, он должен был быть русским; только русские так правильно и певуче говорят по-французски, отчетливо выговаривая каждую букву, порою пикантно неясно звучащую в устах природного француза.

Увидев меня с княгиней Варварой, неизвестный мне русский и Суврэ сейчас же направились в нашу сторону. Суврэ поцеловал руку Голицыной и дружески поздоровался со мной, а незнакомец укоризненно сказал Голицыной:

— Божественная! Да что же вы разговорами занимаетесь, когда столько преданных сердец напрасно ищет вас, ожидая счастливой возможности умчаться ваш гибкий стан в грациозном порыве танца! Княгиня! Божественная красота и олимпийская обаятельность не могут и не должны быть в единоличном обладании! Вы — наше общее солнце, княгиня, и справедливость требует, чтобы, с избытком обогрев одного, вы пролили свой свет и тепло и на других жаждущих! Вы уж простите, сударь мой, — обратился он ко мне с обаятельной улыбкой и изящным поклоном, — но я принужден похитить вашу даму, без которой и танцы не в танцы!

Голицына комически пожала плечами и ушла с

веселым смехом танцевать.

— Кто это? — спросил я маркиза де Суврэ.

— Это — камергер Потемкин, — ответил мне Суврэ. — Еще будучи вахмистром конной гвардии, он играл видную роль в перевороте шестьдесят второго года. Это большая умница и очень образованный человек. К тому же он очень красив, и императрица начала серьезно заглядываться на него. Тогда Орловы выхлопотали ему чин камер-юнкера и почетную миссию отправиться к шведскому двору для объявления о происшедшем перевороте — иными словами, опасного человека спланировали подальше с глаз долой. К коронации Потемкин вернулся в Россию, но тут Григорий Орлов устроил с ним гнусную шутку. Он пригласил его играть на бильярде и сумел попасть шаром в глаз — ведь Григорий играет на бильярде прямо-таки поразительно; он показывает занимательные фокусы, перебрасывая шар с бильярда на бильярд и укладывая шар в лузу соседнего бильярда. Следовательно, попасть в глаз партнеру ему ничего не стоило. Когда же Потемкин заохал и схватился за ушибленный глаз, Орлов крикнул своего врача, и тот присыпал ему глаз чем-то таким, от чего глаз начал заметно пропадать. Потемкин заперся у себя дома и стал тщательно лечиться, но глаз гноился и не поддавался излечению. Как раз в тот момент, когда рана была особенно отвратительна, Орловы ворвались к Потемкину и одной рукой прижали его к императрице. Ее

Потемкину и силой притащили его к императрице. Ее величество не переносит никакого физического уродства; она покачала головой, повысила Потемкина в камергеры и махнула на него рукой. Орловы восторжествовали, но, по-моему, ненадолго. Потемкин — большая сила! Вы слышали, как он говорил о необходимости лить масло на волны, чтобы двигаться вперед? В этом его огромное преимущество перед теперешним фаворитом. Орловы способны ломиться стеной, но для того, чтобы годами незаметно подбираться к намеченной цели, у них не хватит ни характера, ни ума. Теперь Потемкина затирают Орловы, с ним совершенно не считаются и не обращают на него никакого внимания. Но Потемкин потихоньку «льет масло» и понемножку пробирается вперед. И он будет у пристани, будет, поверьте мне! Ведь это — не какой-нибудь принц Фридрих, нет! — Вспомнив что-то при этом имени, Суврэ весело засмеялся и продолжал: — Вы заметили, как весел и доволен сегодня наш милый хозяин? Да? А знаете почему? Потому что в этот момент его козни увенчались успехом, и придурковатый Фридрих Эрдман мчится сломя голову в Пруссию!

— Не может быть! — с удивлением воскликнул я. — Но как же это возможно?

— О, это — такая комедия, что просто остается руками развести! Не знаешь, чему больше дивиться: наглости Орловых или глупости принца. Надо вам

сказать, что счастливая полоса у принца прошла, и в последние два дня он наделал и наговорил столько глупостей, что императрица несколько раз принуждена была попросту обрывать его. Принц опечалился: он не мог понять, что значила эта перемена в обращении. Ну, а того, что такой дурак, как он, может надоесть до бешенства в самое короткое время, ему, разумеется, в голову не пришло. И вот клеветы Орлова дали Фридриху возможность «подслушать» важный, государственный разговор: императрица, дескать, и не думала никогда выходить за него замуж, а в Россию принца заманили только потому, что его, Фридриха Эрсмана, считают гениальным полководцем, способным дать армии прусского короля значительный перевес...

— И он мог поверить этому? — с трудом проговорил я, задыхаясь от смеха.

— Да, вы слушайте дальше! Из этого тайного разговора принц узнал потом, что его, Фридриха Эрсмана, будут держать пленником и что со дня на день надо ждать войны, которую Екатерина объявит Пруссии по настоянию Франции. Война — дело решенное, и завтра-послезавтра пришлют гонцов к границам с приказанием усилить надзор и не пропускать никаких депеш от иностранных послов, аккредитованных при российском дворе.

— И это заставило принца уехать?

– Нет, еще и не это. Сегодня утром к принцу зашел Григорий Орлов, который сказал, что был у императрицы для подписи важных бумаг и зашел к принцу для напоминания о сегодняшнем вечере. «Важные бумаги» были у Орлова в руках, и, когда фаворит ушел, на столе осталась одна бумажка, «случайно оброненная» графом. Принц взглянул на эту бумагу и чуть в обморок не упал! Ведь там было собственноручно подписанное Екатериной письмо к Людовiku Пятнадцатому, в котором ее величество обещалась не позже как через неделю двинуть к границе Пруссии большой корпус, «чтобы застать Фридриха Второго неподготовленным». Между прочим замечу, что это письмо было всецело рассчитано на плохое знание принцем французского языка, так как там встречаются выражения попросту неприличные...

– Но, значит, ее величество...

– Да нет же! Ведь письмо написано кем-нибудь из клеветников Орлова, и ручаюсь головой, что они даже не дали себе труда подделать мало-мальски похоже почерк ее величества. Слушайте дальше! Право, это очень забавно. Конечно, у принца Фридриха были «друзья» из числа лиц его свиты. Фридрих стал молить «друзей» помочь ему бежать, и после долгих колебаний они согласились, взяв с него самую священную клятву, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не выдаст их имен. И вот за час до того, как принц должен был

имен. и вот за час до того, как принц должен был отправиться на вечер к Орлову, состоялось маскарадное бегство придурковатого жениха, и он теперь мчится к дядюшке. Воображаю, какой прием ожидает несчастного принца в Берлине! А он-то рассчитывает «фаскрыть доверчивому королю глаза на предательскую политику русского двора»!..

— Но как же он не посоветовался с прусским послом?

— Барон фон Гольц сейчас на охоте. Кроме того, принца уверили, что прусский посол ненадежен...

— Но я не понимаю, милый маркиз, как же могло случиться, что императрица ничего не знает об этом, если даже вы имеете такие подробные сведения?

— Неужели вам не приходилось встречаться с подобного же рода случаем, когда о распутстве жены кричит весь свет и только один муж ничего не знает?

— Положим! Но, если у вас имеются ловкие шпионы, почему у прусского посла их нет?

— Хотел бы я видеть посла, у которого нет шпиона на жалованье!

— Но тогда почему же фон Гольц не так осведомлен, как вы, маркиз?

Суврэ засмеялся.

— Потому что Гольцу служит шпион, состоящий на жалованье у Орловых! — ответил он и продолжал, вставая: — Однаю я так много говорил, что у меня

пересохло горло! Не пойдём ли мы выпить глоток вина?'

— С удовольствием, — ответил я.

Следующей комнатой был прелестный круглый зал, уголки которого манили к отдыху и интимной беседе.

— Однако! — сказал я. — Сколько здесь комнат! Идем-идем, а все конца нет!

— Да, — ответил мне Суврэ, — а Орлов находит, что живет, как захудалый, мелкопоместный дворянин, и его утешают лишь генерал-адъютантские покои, отведенные ему в Зимнем дворце, где он и проводит большую часть времени. Императрица находит его жалобы справедливыми и собирается строить ему целый дворец из мрамора. В свободное время ее величество занимается тем, что собственноручно набрасывает эскизы нового здания! Вот сюда, — сказал он, увидав, что я направился к правой двери, — эта дверь ведет на лестницу!

Мы прошли в левую дверь. В довольно большой комнате находился стол, уставленный прохладительными напитками. Несколько человек безмятежно угощались там. Мое внимание привлек один из них, в задумчивой мечтательности созерцавший ряд бутылок, как бы не зная, которой отдать предпочтение.

Этот человек был удивительно некрасив. Крючковатый нос и выдающийся вперед подбородок придавали ему вид дьявола, и это сходство усиливалось маленькими, узенькими глазами, взгляд которых

впивался в вас и сверлил, как буравчик. Несмотря на то, что его спина была гладка и пряма, он с первого взгляда казался горбатым. Криво посаженные ноги и цепкие, длинные, волосатые руки придавали ему сходство с обезьяной. Несмотря на такое уродство, в нем была какая-то странная привлекательность, чувствовалось, что перед тобой стоит недюжинный человек, таящий в себе большую нравственную силу.

– Кто это? – спросил я маркиза.

– Это – Одар. По рождению он – пьемонтец, по подданству – сардинец, по национальности – еврей, по религии – вернейший слуга сатаны, по профессии – негодяй, по положению – частный секретарь императрицы, а по всему – личность весьма крупная и замечательная. Умница, каких мало! У него хватает достаточно ума, чтобы не прикидываться святошей, и он сам первый с немалым цинизмом признается в полном отсутствии каких бы то ни было правил и руководящих принципов, кроме «выгодно» или «невыгодно»; императрица относится к нему с большим доверием, и это делает честь ее уму: ведь Одару было бы «невыгодно» изменить ей. Могу прибавить еще, что он в совершенстве владеет изящным французским стилем, и злые языки весьма правдоподобно уверяют, что переписка императрицы с Вольтером – дело его пера! Словно почувствовав, что мы говорим о нем, Одар повернулся и его лицо исказила льявольская гримаса.

повернулся, и его лицо показало двоящееся прищипывание, означавшая улыбку.

— Кого я вижу! — патетически воскликнул он, торжественно поднимая вверх обезьяньи руки. — Сам Адонис, одаренный умом Аполлона и хитростью Меркурия! Приветствую вас от души, высокоуважаемый маркиз! — Он впился в меня своими буравчиками и сказал, отвешивая мне церемонный поклон: — И вас тоже приветствую, сударь! Правда, мы незнакомы, но нужна ли эта пустая формальность, раз мы все равно знаем друг друга? Ведь, наверное, входя в этот мирный приют, осененный дарами Вакха, вы спросили у своего спутника, что это за чудовищная помесь дьявола с обезьяной рассматривает там бутылки, и маркиз тут же в двух словах охарактеризовал меня вам; ну, а вас я тоже знаю, потому что вы сделали настоящей злобой дня в Петербурге и должны были привлечь внимание такого старого нечестивца, как я. Значит, что же мешает нам чокнуться, как знакомым? Маркиз, — обратился он к Суврэ, — чувствуя жажду, я долго думал, с чего начать, и решил, что лучше всего сделать плоток этого старого рейнского. Немцы — скучный народ, но их вино имеет свойство располагать к продолжению. Утишая жажду, оно не утишает желания. Так выпьем же рейнского, господа!

Одар с обезьяньей ловкостью налил три бокала, и мы, чокнувшись, стали с наслаждением плотать

янтарное, маслянистое, ароматное вино.

– Боже мой, но неужели это – Дашкова? – сказал Суврэ, глядя на входившую даму. – Как она плохо выглядит! Да она совсем желтая!

– Да, да, – усмехаясь ответил Одар, – у прелестной княгини разлилась желчь после ряда неудач, постигших ее. Ее доконало возвращение ко двору Елизаветы Воронцовой, ее сестры, а также крушение взлелеянной надежды на...

Он не договорил, так как Дашкова подошла совсем близко.

– Маркиз, одно слово! – сказала она с грустной улыбкой, обращаясь к Суврэ.

Маркиз поставил допитый бокал на стол и подошел к Дашковой. Она взяла его под руку и увела из комнаты. Я с Одаром остался наедине в этом конце стола.

X

– Ну, что, разве я не прав? – сказал мне Одар, когда мы выпили с ним по второму бокалу рейнского. – Нет томящей жажды, но желание даров Вакха обострилось! Теперь мы выпьем с вами чего-нибудь другого! – Он придвинул два бокала поменьше и наполнил их из неуклюжей, пузатой, обросшей мхом бутылки чем-то красноватым и маслянисто-тягучим. – Вы не можете себе представить, – продолжал он, – как я действительно

рад встрече с вами. Да вы напрасно кланяетесь с таким ироническим видом! Я лгу только тогда, когда мне это выгодно, а жизненный опыт показал мне, что ложь очень редко бывает выгодной. Самое лучшее сказать правду таким тоном, что тебе все равно не поверят. Но и это лишь в крайних случаях, а в виде общего правила правда – лучшая политика. Но к чему мне политика с вами? Нет, можете поверить, что вы глубоко меня заинтересовали. В вашем лице я натолкнулся на редкий экземпляр человека, который на самом деле имеет принципы. Большинство только притворяется, будто их имеет. Меньшинство – я в том числе – открыто признается в неимении такого неудобного багажа. Но человек с принципами, человек, идущий стезей добродетели, человек, убежденный, что это нужно не для каких-нибудь внешних целей, а для удовлетворения внутреннего «я»!.. Гм... Теоретически я признавал возможность такого типа, но практически не встречал! Вы – очень верующий человек?

– Да, я верю искренне, хотя молюсь редко...

– И конечно, верите в Царствие Небесное?

– Мне как-то не приходилось думать, а следовательно, и сомневаться в этом.

– Но все-таки вы верите в загробное воздаяние, верите, что за нравственную жизнь в будущем вас ждет награда?

– И об этом я никогда не думал.

— Да может ли быть, чтобы, отказываясь от чего-либо, совершая какое-нибудь доброе дело, вы не думали: «Сейчас это дает мне лишения, но в будущем меня вознаградят за это»?

— Уверяю вас, что в своих действиях я руководствуюсь только сознанием внутреннего долга, мысль о воздаянии мне никогда не приходила в голову!

— Да, да! — задумчиво сказал Одар, говоря как бы с самим собой. — И ведь по тону чувствуется, что этот человек говорит совершенно искренне! Чудеса! Неужели такое возможно? Или это только — новое подтверждение справедливости афоризма: «Исключение подтверждает правило»?.. Вы — удивительно интересный экземпляр для изучения, сударь! Мне будет очень интересно изложить вам свою теорию и посмотреть, как вы отнесетесь к ней, совершенно объективно, разумеется! Еще вчера, разговаривая с ее величеством... Ну, да мы поговорим еще об этом, а теперь выпьем!

Мы чокнулись. Я с удовольствием проглотил сладкий, душистый напиток, имевший все приятные свойства вина и ликера и пахнувший цветущим лесом. Напиток казался совсем слабеньким, но вдруг желудок сразу согрела приятная теплота, и зал закружился передо мной, а пол стал плавно уходить из-под ног. Я едва не упал и должен был ухватиться за край стола, причем чуть-чуть не стянул скатерть со всеми бутылками.

— Что вы мне налили? — сказал я, удивляясь, что при сильной степени опьянения мой язык все же двигается совершенно свободно, и голова только кружится, но не затуманена. — Ведь я опьянел! Вы нарочно подпоили меня! Я не могу отойти от стола!

— Да неужели вы еще не пивали старого боярского меда? — сказал Одар, взяв меня под руку с таким видом, словно собирался сказать мне что-то по секрету, и скрывая таким образом мое состояние от нескромных глаз. — Не бойтесь, беда невелика! Мед действует только на ноги, оставляя голову в состоянии блаженного прекраснотушия и добродушного дерзновения! Это — чудный напиток! Пойдемте потихоньку в соседнюю круглую гостиную. Мы там поговорим, и вы отдохнете: этот хмель очень быстро теряет свои расслабляющие свойства и наоборот — придает энергию и возбуждает деятельность мозга! Опирайтесь на меня, не бойтесь, мы пройдем совершенно незаметно!

Одар принялся что-то весело рассказывать мне, словно в приливе дружеских чувств обнимая за талию. Он делал это так ловко, что я дошел до круглого зала, не обращая на себя внимания.

Там мы уселись на «dos-a-dos»^[10]. Одар был прав: хмель от меда проходил очень быстро, уступая место какой-то радостной ясности и бодрости. Потом мне говорили, что этот мед пили древние славяне, отправляясь в бой. Если это так, я удивляюсь, почему

они не покорили весь свет: я по крайней мере чувствовал себя так, что, что бы ни случилось со мной, я ни перед чем не отступил бы и ничего не испугался бы.

– Да, да, дорогой мой, – говорил мне тем временем Одар. – Должно быть, ваша французская пословица: «Крайности сходятся» – права, потому что я чувствую к вам необыкновенную симпатию. Мое жизненное правило совершенно обратно вашему. Для меня существует только одна мера – это «выгодно». «Выгодно» – значит «хорошо». Все, что невыгодно, – плохо, потому что глупо и бесцельно. И вот мне хотелось бы знать, какую роль отводит выгоде ваш нравственный кодекс.

Я не успел ответить, так как в это время по залу поспешно прошел Григорий Орлов, и в тот же момент у дверей показалась дама, в которой я сразу узнал императрицу Екатерину.

Ее нельзя было назвать красавицей, и ее фигура, прежде такая стройная и пластичная, теперь уже страдала от некоторого избытка полноты. Но во всем – и в фигуре, и в располагающем, ласковом лице, и в мягких, грациозных движениях – было столько царственного, столько обаятельного, а взгляд ее голубых глаз так чаровал умом и богатой внутренней жизнью, что перед ней невольно хотелось встать на колена.

– Императрица! – сказал Одар, и в том своеобразном шуме, который полетел по залу и

напоминал утренний ветерок, на мгновение пригибающий лозы, чувствовалось повторение этого же слова. Однако никто не встал, и, когда я хотел приподняться, Одар шепнул мне: – Сидите! Вставать не только не нужно, но даже запрещено!

Тем временем императрица говорила вполголоса с Григорием Орловым. Так как мы с Одаром сидели близко от дверей, то до нас доносилось каждое слово.

– Ну, что у тебя делается, Григорий, – спросила императрица, – танцуют? Ну, пусть их себе! А принц что?

– Его высочество не прибыл, – ответил Орлов.

– Как? – удивленно спросила Екатерина. – Но куда же он делся? Я посылала справляться, и мне сказали, что принц Фридрих отбыл часов в восемь или девять...

– Да, его высочество отбыл, но не ко мне на вечер, а... в Пруссию!

– Что? Да ты бредишь, Григорий?

– Обеспокоенный тем, что его высочество не прибыл к назначенному часу, я послал справиться во дворец, и там мне сказали, что принц Фридрих еще раньше уложился и отослал куда-то свой чемодан. Выехав в придворном экипаже из дворца, принц доехал лишь до угла Невской перспективы и Морской, где его высочество изволил пересесть в ожидавшую его тройку, и та помчалась с бешеной быстротой. Наведенные мною

справки выяснили, что принц Фридрих уже давно намеревался удрать в Пруссию и подготавливал свое бегство. Теперь он уже далеко.

– Да не может быть! – радостно вскрикнула Екатерина. – Cott sei Dank!^[11], – от полноты чувств императрица сказала эту фразу по-немецки. – По правде сказать, в последнее время этот чудак стал мне просто невыносим... А жаль, – задумчиво прибавила она, – он так красив!.. Но что же могло его заставить бежать?

Орлов наклонился к самому уху императрицы и что-то шепнул ей. Екатерина рассмеялась и шутливо ударила фаворита по руке.

– Ну, ты преувеличиваешь, – сказала она смеясь, – хотя... как знать! От его убожества всего можно ждать! Однако пойдем, посмотрим, что у тебя делается!

Императрица медленно пошла по залу, приветливо раскланиваясь направо и налево. Проходя мимо того места, где я сидел, она замедлила шаг и пытливо посмотрела на меня. Подчиняясь неведомому внутреннему приказу, я встал и почтительно поклонился ей.

Екатерина еще внимательнее посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнула ласковая насмешка. Она обернулась к Орлову, спросила его о чем-то, и, когда он утвердительно кивнул головой, императрица сказала, обращаясь ко мне:

– Сударь, вы преступили своим вставаньем пункты

первый, второй и четвертый правил, раз навсегда для наших бесчиновных собраний установленных. А если вам эти правила неведомы, то скажу вам, что этими правилами мы все возвращаемся к своему человеческому естеству и что на дружеских собраниях мы хотим быть просто людьми, а не графами, министрами или государями. Поэтому никаких особенных знаков почтения у нас оказывать не принято. Вы этот наш обычай своим вставанием презрели, а потому подлежите каре, специально для подобных случаев установленной. Но так как приговор не может быть произнесен, прежде чем преступник скажет свое оправдательное слово, то предлагаю вам, сударь, дать защитительные объяснения. Предупреждаю, однако, что ссылкой на незнание законов никто оправдываться не может!

Пока государыня говорила, из соседних комнат в круглый зал стали собираться гости, окружившие императрицу густой толпой и с веселым любопытством ожидавшие моего ответа. Я весело оглядел всю собравшуюся толпу. Хмель прошел, но бодрящее чувство безудержной отваги и сознание полной свободы всецело владели мною.

— Madame^[12], — начал я, счастливо избегая титула и в то же время обращаясь к императрице вполне согласно с этикетом, — не мне, воспитанному на законах, оправдываться незнанием их. Нет, именно на знании их

истинного духа могу я построить свою защиту: и прямой, непреложный дух всяких законов говорит, что законы могут насильственно налагать обязанности, но не насильственно освобождать от них. По закону никто не обязан поступаться своими справедливыми правами, но нет закона, который стал бы карать за добровольное поступление ими. Точно так же закон может освобождать от обязанности, но не может быть закона, карающего за то, что человек не захотел воспользоваться предоставленной ему льготой...

Императрица, прежде улыбавшаяся, при последних словах недовольно нахмурилась, гордо вскинула голову и сказала, обдавая меня нестерпимым холодом:

— Однако, сударь! А что же, по-вашему, — воля самодержавно царствующего государя? Разве такая воля не сильнее писаного закона? Разве она — не высший закон? Так бросьте же софизмы, сударь! Закон, слагающий обязанности, не может быть принудительным, это ясно. Но прямая монаршья воля, приказывающая для данного момента отказаться от той или иной обязанности, является принудительным законом; это еще яснее! Или вы из тех, которые не ставят монаршей воли на должную высоту?

— Всякая защита только тогда имеет смысл, мадам, — не смущаясь ответил я, — когда она вполне свободна и когда прерыванием не извращается ее основная мысль. Благоволите же дослушать меня до конца или прямо

наложите кару на бедного преступника!

— Говорите, я слушаю вас! — надменно ответила Екатерина.

— Прежде всего, — вновь начал я, — коснусь обвинения в злоупотреблении софизмами. Раз я говорил о прямом и непреложном духе законов, то мысль, из этого вытекающая, уже не может быть софизмом. А софизмы начинаются лишь в том случае, если во всей полноте принять сделанное мне опровержение. Государыня приказывает не оказывать ей знаков почтения, так как на этих собраниях она не хочет быть государыней. Но признание государя таковым прежде всего выражается в послушании его воле. Следовательно, не оказывающий знаков почтения выражает повиновение государыне и тем показывает ей, что он ее и здесь за государыню почитает, то есть не исполняет ее воли. А оказывающий знаки почтения показывает, что он вошедшей за государыню не почитает, так как иначе он исполнил бы ее приказание. Значит, исполняющий приказание одного не исполняет, а не исполняющий — исполняет. Мало того! Государыня говорит, что на этих собраниях она является не государыней. Значит, я кланялся не государыне, а кому-то другому. А кому-то другому никаких почестей по этикету не полагается. Между тем правила, для сих собраний установленные, говорят о том, что не следует оказывать подобающие почести, а о не оказывании

неподобающих ровно ничего не говорится!

— Браво! — крикнула мне императрица, весело засмеявшись; сердитая складка на лбу у нее совершенно разгладилась.

— Но и без всякого софизма скажу: да, я кланялся не государыне, а кому-то другому, — продолжал я. — И от поклонов и вставаний перед этим «кем-то другим» меня не может избавить никакая монаршая воля, никакой государев закон. Ведь существует наивысший закон — это закон природы и Бога. И только тогда исполним государев закон, когда он не идет вразрез с требованиями естества. Пусть государь прикажет считать черное белым! Подданные могут лишь называть цвета неправильно, но видеть их неправильно государь их не заставит. Пусть государь заставит людей перестать чувствовать любовь, пусть государь прикажет ветрам не дуть, а рекам — потечь вспять! Тщетным будет тут государева воля. И тщетной будет она тогда, когда приказано будет не чувствовать почтения к достойному его. Я же — такой человек, который не разделяет чувства и действия. Поэтому, увидев человека, соединяющего в себе все внутренние и внешние дары, сочетающего телесную красоту с обаянием светлого ума, я не мог не встать и не поклониться ему, но не как венценосцу, а лишь как человеку, поклонения наравне со святыней достойному! Вот в чем мое оправдание, и по чистой совести говорю: невиновен я! Но если мой строгий

своем говорю. повинюсь я: но если мой строгий судия с моею невинностью не согласится, то при определении степени наказания да будет принято во внимание следующее: степень наказания должна различаться для преступлений предумышленных и непредумышленных. Я обвиняюсь в том, что преступил волю повелительницы здешних мест. Но не нарочно сделал я это! Когда я так неожиданно близко увидел возле себя светлый лик великой Семирамиды севера, я забыл о том, что передо мной венценосная особа, и, повинувшись благоговейному толчку, встал и поклонился ей как человеку. Суди же меня, судия строгий и справедливый! — с пафосом воскликнул я. — Но раз уж все равно мне быть наказанным, то «семь бед — один ответ!» — и, подчиняясь обуявшему меня хмельному дерзновению, я красивым движением упал перед императрицей на одно колено.

Государыня добродушно махнула на меня рукой и залилась добрым, заразительным смехом, а свидетели этой сцены разразились бурными рукоплесканиями.

— Встаньте! — сказала мне Екатерина, движением руки восстановив тишину в зале. — Ох, уж эти мне французы! Я уже слышала, сударь, что вы умны и образованы, и теперь вижу, что молва не преувеличена. Но нехорошо, если умственные способности направляются на одну только лесть! Что же мне с ним делать? — обратилась она с улыбкой к окружающим. —

Могу ли я теперь осудить его, когда он мне таких комплиментов наговорил? Сударь, ваш судья признал вас на этот раз оправданным. Но если вы не хотите слушаться государевых велений, то всякая женщина имеет право требовать от мужчины-рыцаря уважения к ее воле, и, как женщина, я прошу вас в будущем точно следовать установленным для наших дружеских собраний правилам.

Она милостиво кивнула мне и медленно пошла дальше. За ней устремилась большая часть свидетелей неожиданного судебного разбирательства.

Я уселся на прежнее место. Вдруг передо мной выросла нескладная фигура Одара, который прижал мне плечи обеими руками и пытливо впился в мои глаза своими буравчиками.

— Прекрасная защитительная речь, — забормотал он, — убей меня Бог, прекрасная! Какое движение, жест, интонация, переливы голоса — все рассчитано на глубокое впечатление... Прекрасная речь! Но меня она ввела в сомнения... Полно, да то ли вы, чем представляетесь? Уж не одного ли вы со мной поля ягода, только еще более рафинированная? Ха-ха-ха! Неужели же мое правило без исключений? Так-так, друг мой! Говоря о том, что вы не руководствуетесь выгодой, уж не имели ли вы в виду, что, охотясь за большой выгодой, вы пренебрегаете мелкими? А? Хотя нет, непохоже! Надо быть самым дьяволом, чтобы суметь

играть комедию передо мной... Так неужели это мед так подхлестнул ваш мозг?

— Скорее мед, чем что-либо другое, — ответил я смеясь. — Да какая мне может быть выгода от внимания императрицы? Все равно, что бы ни случилось, я не оставлю Гюс, пока она сама не оттолкнет меня... Нет, это мед привел меня в такое настроение, что мне захотелось подурачиться!

— Ну, так, значит, я вовремя налил вам стаканчик! — весело воскликнул Одар, хлопая меня по плечу. — Пойдем, выпьем по другому, что ли?

— Ну, уж нет! — рассмеялся я. — После второго стакана я, пожалуй, окажусь способным предложить ее величеству отказаться от трона и стать госпожой де Бьевр! Русский мед — опасная вещь для увлекающегося француза!

— Но не для пьемонтца! — ответил Одар, направляясь к соседней комнате.

XI

Посидев немного, я отправился побродить по залам. В ближайшей комнате я встретился с Паниным. Он сейчас же подошел ко мне, назвав себя, и начал говорить мне комплименты.

— Да, да, — сказал он мне между прочим, — ваша речь была восхитительна именно умелым сочетанием тонкой

была бесхитрива и именно умелым со знанием толков лести и горькой правды. Так избалованным детям дают невкусное лекарство! Как вы это сказали?.. «Существует... существует»... Да!.. «Существует наивысший закон, это – закон природы и Бога. И только тогда исполним государев закон, когда он не идет против него». Да, это – квинтэссенция конституционализма! Лишь Бог один вездесущ и всеведущ, и государь мыслящий, править единолично, посягает на эти свойства Божий...

– Но помилуйте, дорогой граф, – перебил я его, – вы придаете моим словам то значение, которого они вовсе не имели! Это была просто шутливая пародия на обычные извороты наших адвокатов...

– Ну, ну, – остановил меня Панин, улыбнувшись с тонким видом знатока, – я наперед знаю все, что вы сейчас скажете... Вы, дескать, никогда не осмелились бы преподать монарху советы, вы сами более кого-либо другого уверены в боговдохновенности всех монарших начинаний и так далее. Хвалю вас, дорогой меcье, очень хвалю за это! Мало горячо и искренне исповедовать свой политический символ веры, надо еще уметь быть дипломатом в распространении своих убеждений. Я вот не сумел быть им в достаточной степени! Когда-то я представил ее величеству проект учреждения постоянного «совета шести». Я хотел заронить этим советом зерно конституционализма, но... но государыня

хотя и подписала проект, однако указ так и не был обнародован, а меня постигла тайная немилость, отстранившая меня от возможности влияния на государственные дела. Что же, я сам был виноват. Я забыл то мудрое правило, которое так ярко сказалось в вашей «шутливой» речи: полезное лекарство редко бывает приятным на вкус, его надо давать умеючи...

— Но уверяю вас, граф...

— Хорошо, хорошо! — с прежней тонкой улыбкой остановил меня Панин. — Допустим, что все это вышло случайно. Если вы хотите этого, мы будем делать вид, что так оно и есть. Но вы не можете нам запретить чувствовать по-настоящему. Вы, например, почему-то не захотели пользоваться принадлежащим вам титулом, и мы именуем вас просто «мсье де Бьевр». Но это не мешает видеть в вас человека, равного нам по рождению. Вы не хотите, чтобы мы открыто ценили ваш конституционный образ мыслей. Ну, мы и не будем. Но это не может помешать нам всем считать вас нашим единомышленником, другом русских конституционалистов!

Княгиня Дашкова, подошедшая к нам в этот момент, избавила меня от необходимости продолжать этот курьезный разговор. Зато начался другой, не менее курьезный. Дашкова увела меня в укромный уголок и стала очень пространно и быстро рассказывать о своей переписке с философами Дидро и Мармонтелем, о

мыслях, которыми они обменивались по поводу того, что закон вреден, раз он покушается на естественное право человека. В заключение она заявила, что все эти мысли она, к величайшему своему восторгу, встретила в моей шуточной защитительной речи и очень рада, что я принадлежу к числу ее единомышленников.

— С вашим появлением нашего полку прибыло, — сказала она, — потому что вы из тех людей, которые светло и сознательно анализируют устаревшие предрассудки и умеют показать невыгодные, темные стороны последних. Закон, как нечто неизменное, себе самому довлеющее, одинаково обязательное для людей разных уровней, состояний, умов и веков, — абсурд. Вы наглядно доказали это! Я рада, что вы — из наших!

От болтливой княгини Дашковой меня избавило появление Одара с княгиней Варварой. Одар заговорил с Дашковой, а Голицына утатила меня с собой.

— Ну и молодец же вы! — сказала она мне. — А каким тихоней да скромником представился! Ведь оказывается, вы отлично умеете гнуть свою линию; только не хотите грешить по малости, а охотитесь сразу за крупным зверем! Все равно! Теперь я вижу, что вы из наших!

Мы как раз входили в полутемную гостиную, в которой раньше шептались Панин и Дашкова. Я ясно расслышал нервный смешок Адели, но при звуке наших шагов в гостиной все смолкло и наступила положительно тишина. Желая под влиянием

проказливой мысли проверить свои подозрения, я собирался было предложить Голицыной отдохнуть от шума и толкотни за трельяжем, как вдруг нас сзади окликнул голос Алексея Орлова.

— Сударь, — сказал он, взяв меня за руку и притягивая за собой к большому карточному столу, — мы все непременно хотим чокнуться с вами! — Он протянул мне бокал с шампанским. — Все мы здесь обожаем нашу пресветлую матушку-царицу, и нам особенно приятно видеть, что и иностранец разделяет наши чувства к нашей самодержице! Господа, за здоровье месье де Бьевра!

Все потянулись ко мне с бокалами, а я, любезно чокаясь, иронически думал в то же время, как любят многие люди жить созданными ими же навязчивыми представлениями. Для таких людей мир представляется каким-то театром марионеток, лишенных собственных мыслей и чувств и наделенных лишь теми, какими хотел наделить их управляющий ими антрепренер — «я». Под влиянием веселого опьянения я произнес речь, составленную из далеко не первосортных софизмов и сомнительных цветов красноречия. И что же? Я сразу оказался «своим» самым противоположным людям! Друг конституционалистов, я оказался другом самодержавному фаворитизму. Поклонник философии естественного права оказался принадлежащим к шайке

оеспринципных чувственников, готовых на все ради физического блага... И все это сразу, и все это одновременно, и все это на основании одних и тех же слов... О, люди, люди!

Тем временем танцы кончились, в большом зале захлопотали лакеи, а танцевавшие двинулись в гостиные, которые стали быстро наполняться. Из этой новой толпы то и дело отделялся кто-нибудь, считавший своим долгом сказать мне какую-либо любезность или туманно поговорить на какую-нибудь непонятную, не то отвлеченно-философскую, не то реально-политическую тему. Вообще я заметил у русских неприятную склонность к пустой болтовне, приправляемой для пикантности обрывками афоризмов и клочками мыслей, бессистемно и поверхностно натаस्कанными из творений наших философов. У себя, на родине, мы к этому не привыкли. Француз умеет разделить серьезный разговор от веселой шутливой беседы. Кроме того, мне было крайне тяжело освоиться с неприятной манерой русских легко и беспричинно пускаться на откровенность и излияния. И не раз, сопоставляя прошлое русского трона, столь богатое переворотами и интригами, с этой неуместной болтливостью, я удивлялся, как могли осуществляться все эти бесконечные заговоры, раз русские так неразборчивы в открывании своих сокровеннейших дум?

Словом, в самое непродолжительное время мне

стало очень не по себе, и я начал серьезно подумывать, уж не удрать ли не прощаясь. Но как раз в тот момент, когда я с этой целью проходил по крупному залу, меня заметила императрица, сидевшая в обществе нескольких лиц. Она окликнула меня и ласково предложила присоединиться к ее обществу, в числе которого были между прочим сестры-враги Екатерина Дашкова и Елизавета Воронцова.

Завязался общий разговор, направляемый самой императрицей. Государыне угодно было милостиво расспрашивать меня о течениях и настроениях французского общества, о нашей литературе и театре, так что разговор в конце концов неминуемо свелся на Вольтера и те преследования, которые претерпевали его сочинения со стороны французского правительства. При этом у императрицы сказалась очень симпатичная, живая манера: каждый раз, когда она не могла согласиться с высказываемым мною мнением, она не принималась сама спорить и возражать, а, высказав в самых кратких необходимых словах свое собственное мнение, апеллировала к мнению нашего кружка, заставляя таким образом каждого высказываться. Я заметил при этом, что она очень тонко и искусно стравливала враждующих сестер, которые пользовались каждым удобным случаем сказать друг другу какую-нибудь замаскированную колкость. И тут наглядно бросалось в глаза, какая существенная разница в

умственном складе обеих сестер. Ум Дашковой был крупнее, плужее, серьезнее и тяжелее, ум Воронцовой был типичным умом интриганки и авантюристки, для которой образование и умственная дисциплина с успехом заменяются находчивостью, подвижностью и язвительностью. Словесный поединок сестер напоминал мне турнир легкой конницы с тяжелой артиллерией. Конечно, ядра солидных пушек могли бы разнести в клочки конницу, но артиллеристам приходится возиться с установкой и наводкой орудий, а тем временем кавалеристы уже набрасываются на батарею роем выющихся, жалящих комаров и роем комаров рассыпаются после атаки в разные стороны. И ядра несутся налево, где уже давно пустое пространство, тогда как новая атака идет уже справа. От Вольтера разговор перешел на Фридриха II, у которого Вольтер одно время гостил, пока не поссорился со своим царственным покровителем, а от Фридриха — на присланного им Екатерине жениха, принца Фридриха Эрмана.

— Кстати, господа, — сказала государыня, — известно ли вам, что принц Ангальт-Кетенский сегодня ночью тайно бежал из России? Он наделал несколько новых глупостей и, боясь ответственности, бежал, словно напавший ребенок.

Все принялись громко смеяться, только Дашкова

вздрыгнула, выпрямилась, и по ее лицу скользнула мгновенное выражение радости и торжества. Я понял, что ей известна комедия, проделанная с глуповатым женихом и что она сейчас воспользуется удобным случаем раскрыть императрице всю интригу.

— Точны ли сведения, полученные вашим величеством относительно причин бегства принца Фридриха, — спросила она, — и не явился ли он скорее жертвой чужой дерзости, чем собственной глупости?

В этот момент к нам подошел Григорий Орлов, и я видел, как его глаза беспокойно забегали. Наконец он выразительно посмотрел на Воронцову. Та чуть заметно кивнула ему головой.

— Что ты хочешь сказать этим? — удивленно спросила Екатерина.

— Но, ваше величество, хотя принц выказал себя очень неумным, все же его главным недостатком была излишняя доверчивость. Считая, что он находится при дружественном ему дворе, принц был склонен принимать каждое слово за чистую монету, и этим воспользовались...

— О, Господи, — смеясь перебила сестру Воронцова, — ну, конечно, принц был постоянной мишенью для всевозможных шуток и насмешек, для которых он сам же давал вечную пищу... Но все это было так безобидно... Да, да, принц не очень-то умен, но зато он так красив, так красив, и в моих глазах его

красота искупала многое, если не все!

Предумышленно беспечный тон, которым были сказаны последние слова, оказал свое действие, и Дашкова сразу попала в расставленную ей ловушку. Считая, что словам сестры можно придать такой оттенок, который подорвет симпатию Екатерины к Воронцовой, Дашкова горячо ответила:

— Я даже не понимаю, как можно решиться сказать такую вещь! Если бы принц Фридрих приезжал просто навестить свою царственную родственницу, если бы он явился просто в качестве кавалера, тогда мы могли бы махнуть рукой на его умственные качества и видеть в нем лишь красивую куклу. Но ведь ни для кого из нас не тайна, для чего приезжал принц! И после этого решиться сказать, что его наружность может все искупить! Да ведь это в моих глазах — просто «оскорбление величества»!

— Вот что значит дух противоречия! — с непринужденным смехом возразила Воронцова. — Он заставляет нас забывать свои собственные слова! Если я и сказала, что красота искупает все, то лишь потому, что в данном случае о серьезности кандидатуры принца нечего было и думать. Но ты, Катенька, думала об этом несколько иначе. Помните, граф, — обратилась она к Орлову, — как еще недавно княгиня сказала в кружке, среди которого были даже представители иностранных миссий: «Принц Фридрих Эрдман глуп и красив, это делает его самым подходящим женихом для ее

величества!»)?

— Но я сказала это вовсе не в том смысле, — взволнованно начала Дашкова, бледнея и покрываясь пятнами под недобрым, ироническим взглядом Екатерины.

— Да, этот смысл достаточно ясно сказался в ваших последующих словах, княгиня, — перебил ее Орлов. — Когда вам заметил кто-то... Ну, да, это был маркиз де Суврэ! Так, когда маркиз де Суврэ заметил вам, что принц Фридрих проявил себя не то что просто глупым, а человеком, вообще лишенным какого-либо ума, вы ответили: «Э, маркиз, много ли ума надо для исполнения супружеских обязанностей, а у нас больше ничего и не требуется!»

Екатерина окинула язвительным взглядом пришибленную фигуру окончательно подавленной Дашковой и, как ни в чем не бывало, рассказала какой-то забавный анекдот о службе принца Фридриха Эрмана в армии его державного дядюшки Фридриха II. От этого анекдота она перешла опять к Фридриху, от Фридриха опять к Вольтеру и Франции, так что получилось впечатление, будто императрица не обратила серьезного внимания на происшедшее и хочет замять неловкое положение, в котором очутилась Дашкова.

Но это могло лишь показаться человеку, не знавшему характера императрицы. Она внезапно обрвала свой разговор и посмотрела на Дашкову

сорвала свои разговоры, посмотрев на Дашкову, сказала ласковым участливым тоном:

— Что это ты, Катя, какая желтая! Ты вообще плоха на вид, и тебе непременно надо несколько дней посидеть дома, а то ты совсем расхвораешься! Ступай-ка ты сейчас домой, не дожидаясь ужина, а то у тебя, видимо, желчь разливается, ну, а для печени поздние ужины очень вредны. Ступай к себе и ляг! Да смотри не смей недельку-другую выходить из дома!

Дашкова встала. Теперь она побледнела еще больше и глухо сказала:

— Вы правы, ваше величество, я чувствую себя очень плохо, и мне надо серьезно полечиться. Но мне вообще вреден здешний воздух. Поэтому я просила бы отпустить меня лечиться за границу!

— Видно, здесь уже все переслушали дашковские сплетни, — будто бы про себя, но достаточно явственно кинул Орлов, — теперь надо их за границей распространить!

Екатерина сделала вид, что не слыхала этой фразы, и прежним шутливо-доброжелательным тоном воскликнула:

— Ну, какая эта Катя легкомысленная! Ведь говорят ей, что для нее вредно даже из дома выходить, а она хочет пуститься в дальнее путешествие! Нет, княгиня, видно, ты еще молода, чтобы гулять без няни! Не досмотри за тобой — так ты какую-нибудь

неосторожность сделаешь и еще больше повредишь своему здоровью. Видно, надо принять серьезные меры! Вот что, Григорий: откомандируй-ка ты двух офицеров, пусть проводят княгиню до дома да и подежурят там до утра, а утром ты пошлешь туда двух других, пусть меняются на дежурстве! Так ты устрой это и приходи – уж пора бы и ужинать, дорогой хозяин!

Дашкова ничего не сказала; только ее глаза мрачно уставились на Григория Орлова. Затем она обвела ими кружок гостей, обступивших наш уголок, и ее взгляд вспыхнул злобной угрозой; она резко повернулась и не прощаясь пошла к выходу.

Я следил за ее взглядом и заметил, что мрачные искорки вспыхнули в нем в тот момент, когда глаза Дашковой на мгновение остановились на лице Адели.

Я вспомнил смехок Адели, слышанный мною из-за трельяжа полутемной гостиной, вспомнил, как потом встретил ее поправляющей слегка растрепавшуюся прическу у зеркала и как насмешливо посмотрела на нее проходившая мимо Дашкова. Мое сердце на мгновение сжалось каким-то неясным, недобрым предчувствием.

XII

Следующий день был очень знаменательным в нашей судьбе: мечты Адели и ее достойной мамы наконец-то сбылись, и девушка получила золотую

оправу, в которой так нуждалась для своего полного торжества.

Я сидел у себя в комнате и читал; под вечер, с наступлением темноты, к Адели явился граф Григорий Орлов.

— Ну-с, барышня, — начал он без всяких подходов или вступлений, — я явился к вам, чтобы закончить наш вчерашний разговор и прийти к какому-нибудь результату.

— Какой разговор? — невинно спросила Адель.

— Тот самый, который мы с вами так уютно вели за трельяжем! — ответил смеясь Орлов.

— Но ведь мы не говорили ни о чем определенном... Мы просто шутили... Я не помню...

— О, какая у вас слабая память, мадемуазель! Ну, так я приду ей на помощь. Я говорил вам, что мое высокое положение при особе ее величества далеко не удовлетворяет меня, так как любовь по обязанности не может наполнить всю жизнь. Мне нужны развлечения, отдых, и этот отдых мне может дать хорошенькая, изящная женщина, на которую я могу вполне положиться. Вы мне кажетесь такой, и вот я предлагаю вам стать моей подругой! Ну, согласны вы?

— Но позвольте, граф, как же так сразу?... Разве такие вещи решаются с двух слов?

— Уж простите, мадемуазель, но мне некогда заводить длинную волюнку. Этот вопрос должен быть

решен теперь же!

— Неужели вы с первого взгляда так полюбили меня, что...

— Э, выкиньте, сударыня, слово «любовь» из нашего лексикона! Я смотрю на это дело проще: вы мне подходящи, а я для вас выгоден. Вы уж меня извините, но актрис любит (в романтическом значении этого слова) лишь тот, у кого не хватает состояния: нет денег, вот и хотят расплачиваться за расположение чувством... Ну а я достаточно богат, чтобы обойтись без этой излишней роскоши. Да и будем откровенны — нужна ли вам эта самая любовь?

Я услышал шум резко отодвигаемого стула: должно быть, Адель встала в позу драматического негодования.

— Вы оскорбляете незащищенную женщину, граф!

— Да бросьте вы громкие слова и трагические жесты! Все это хорошо для театра, а мы с вами сумеем понять друг друга и без этого! В чем тут оскорбление? В том, что я хочу купить то, что продается? Да нет, вы постойте, не говорите ничего! Сядьте и выслушайте меня до конца! Может актриса обойтись без покровителя и довольствоваться другом сердца? Нет, не может, потому что на театральное жалованье она не проживет, друг же сердца не только ничего не приносит, а обыкновенно сам норовит сорвать копейчку с любимой женщины. Таким образом, актрисе нужен

покровитель? Нужен. Станет кто-нибудь сыпать деньгами так себе, зря? Нет, не станет. Значит, он будет «поддерживать» актрису за что-либо такое, что она даст ему взамен? Безусловно. Значит, между актрисой и ее покровителем происходит торг, и, значит, я не сказал ничего оскорбительного, говоря, что хочу купить нечто продающееся. Кажется, ясно? Так что же мы будем зря тратить слова на разную высокую материю? Дело простое.

— Значит, вы предлагаете мне торг? Ну, что же, давайте торговаться! Изложите свои условия.

— Да чего там условия! Мне нужен сердечный друг, который развлекал бы меня от моей обязательной любви.

— То есть «клин клином вышибай»? От необходимости любить по обязанности вы хотите развлекаться тем, что вас будут из необходимости любить по обязанности?

— А хотя бы и так! Ведь меня громкими словами не испугаешь! Вы мне нравитесь, и я хочу купить ваше расположение. Значит, вопрос в цене! Дело коммерческое!

— Но помилуйте, граф! Раз это — «дело коммерческое», то цену должны назначить вы, а не я! Ведь не я пришла к вам с предложением купить меня, а вы пришли с этим ко мне!

— Извольте! Первым делом вы получите от меня

дом на Морской, снабженный и обставленный всем, что только может пожелать самый избалованный вкус. Затем вам открывается самый широкий доступ в мои карманы. Уж в этом вы можете поверить моему самолюбию: подруга графа Орлова не будет нуждаться ни в чем!

– Допустим. Ну-с, а теперь что потребуется от меня за это?

– Господи! Неужели и это нужно еще оговаривать? Ну... вы должны постараться любить меня, насколько это для вас возможно. Но если вы даже и не будете в состоянии заставить свое сердце полюбить меня, то измены с вашей стороны я все-таки не допущу и не позволю! Значит, вторым условием является верность. Ну, а третье условие вы, я думаю, соблюдете и без моего предупреждения, так как оно вам, пожалуй, будет нужнее моего. Это условие – держать наши отношения в строжайшей тайне, так как у меня немало врагов, которые воспользуются удобным случаем поссорить меня с императрицей. Поссорить-то нас из-за этого еще не удастся, но во всяком случае для меня возникнут затруднения... А для вас... для вас дело может кончиться хуже, так как императрица еще может помириться с моей изменой, но с подчеркнутой бравадой вашего торжества она не помирится.

– Ну я-то, разумеется, не стану бегать по улицам и кричать о том необыкновенном, сверхъестественном

счастье, которым сподобил меня граф Орлов. Но удастся ли вам вообще окружить это достаточной тайной? Ведь вы только что изволили выразить, что зря никто денег не бросает. Значит, вы будете посещать меня. Но ведь вас могут проследить... Да и кроме того, наверное, мой переезд в роскошный дом на Морской вызовет толки и пересуды, так что...

— О, относительно этого не беспокойтесь, дорогая! Я уже все это сообразил. У меня в числе адъютантов есть очень милый офицерик, по имени Аркадий Марков. Он мне предан и сделает все, что я захочу. Так вот, официально вы будете состоять подругой Маркова. Правда, он не настолько богат, чтобы дарить вам целый дом, но это я тоже устрою: мы будем сегодня же держать с Аркадием пари на этот дом, и пари я проиграю. Значит, с этой стороны все будет в исправности. Ну-с, так что же? Ваш ответ, сударыня?

— Я согласна.

— Следовательно, отныне я могу смотреть на вас как на свою подругу?

— Может быть, вы желаете сейчас же воспользоваться своими новоприобретенными правами?

— Сколько язвительности в этой рыженькой головке! Позвольте мне сначала преподнести вам вот это.

О ЖЕНЬКЕ И ЕЕ КОМАНДЕ!

— О, какие чудные камни!

— А затем разрешите поцеловать вашу ручку и удалиться! Сюда я больше не приду, но на этих днях к вам явится ваш новый дворецкий с сообщением, что дом ожидает свою повелительницу... Кстати, ваш блаженненький маркиз не воспротивится переезду и не выкинет какой-нибудь гадости из ревности?

— Да что вы, граф!.. Ведь вы же знаете, что маркиз — не от мира сего. При чем здесь «ревность»? Ведь я уже говорила вам, что между мной и маркизом...

— Никогда ничего не было и не будет? Та-та-та! Блаженны верующие, так как им легко жить на свете! Впрочем, ваш чудак действительно непохож на всех людей, так что меня интересует лишь один вопрос: достаточно ли сильно ваше влияние на него, чтобы помешать ему проболтаться обо всем этом?

— Позвольте, граф: ведь вы же сами упомянули, что в этом случае я рискую больше, чем вы...

— Вы совершенно правы. Итак, до свиданья, божественная, до свиданья в вашем доме!

Послышался громкий звук поцелуев, потом щелкнула дверь, и все смолкло.

Я слышал, как Адель несколько раз прошлась по комнате, и по звуку ее шагов понял, что она была сильно взволнована. Ее думы, выраженные вслух, пояснили мне причину ее волнения.

— Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu! [\[13\]](#) —

мрачно сказала Адель. — Я могла бы любить тебя, готова была бы стать для тебя всем... Но ты приравнял меня к товару... Хорошо же! Я и буду для тебя только товаром! — Она засмеялась неприятным, резким смехом. — Хорошо же, граф Орлов! Торжественно обещаю вам, что, как бы ветвисты ни были те рога, которые вы наставите ее величеству, ваши собственные рога будут еще роскошнее и ветвистее!

Теперь, припоминая все происшедшее, я прихожу к заключению, что цинизм Орлова, проявленный в этом бесстыдном объяснении, сыграл главную роль в окончательном крушении лучшей части души Адели. Действительно, до сих пор каждая связь Адели была именно падением, так как «падение» предполагает определенную высоту, на которой стоял данный человек, опустившийся до того или иного поступка. Со времени же связи с Орловым Адель не падала, а лишь катилась по наклонной плоскости. Орлов сумел убить в ней последние остатки женской стыдливости, последнюю веру в торжество добродетели, последнее доверие к чистоте мужских поползновений. А так как достойная маменька сумела достаточно старательно подготовить почву ее души, то надо ли удивляться, что на разрытой и тщательно унавоженной почве семена разврата выросли таким пышным, роскошным цветком?

Когда через неделю мы переехали в подаренный Орловым дом, комнаты Адели вскоре стали очагом

самого разнузданного пиршества страстей.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Фаворитка фаворита

I

Орлов не любил Адели. Правда, он осыпал ее подарками, и касса старухи Гюс росла с невероятной быстротой. Но богатство слишком легко доставалось самому Орлову, да и, кроме того, он был слишком тщеславен, чтобы скупиться на подарки. И щедрость никак уже не могла служить мерилom его чувства.

Почему же он взял Адель? Да потому, что она была лучшим из всего, что мог предложить интернациональный рынок любви в Петербурге. Она была красива, молода, изящна, была прославленной, модной артисткой. Кроме того, весьма возможно, что и моя скромная особа сыграла здесь не малую роль. Ведь для женщины является немалым ореолом, когда ради бескорыстной и неразделенной страсти к ней человек поступает титулом и состоянием. А благодаря ловкой лжи Адели меня считали в Петербурге именно таковым.

Кроме этого, положение Орлова было тоже не из легких. И его душа нуждалась действительно в отдыхе и

забвении. Ведь ему приходилось качаться между совершенно противоположными чувствами и отношениями. Личностями, являвшимися пунктами этих качаний, были сама Екатерина и ее питомица, Катя Королева.

Ни для кого в Петербурге не было тайной, что государыня смотрела на некоторые стороны жизни более чем просто (по отношению к себе, по крайней мере). Когда-то она действительно любила Григория Орлова, любила настолько сильно, что серьезно подумывала даже о браке с ним. Но угар страсти прошел, и государыня увидала, что Орлов никоим образом не годится для этой роли. Даже больше: он был бы опасен со своим непомерным честолюбием и беспринципностью. Он мог бы легко уготовить ей ту же судьбу, которая постигла Петра III. И так канул в лету проект, составлявший предмет самых пламенных мечтаний фаворита.

Угар страсти у императрицы прошел, но влечение все же оставалось. К тому же Орловы были нужны Екатерине, еще не чувствовавшей достаточно прочной почвы под ногами. И Григорий Орлов остался в положении фаворита; однако у него были вечные соперники — «дольщики», как их язвительно называли придворные. Правда, эти «дольщики» отнюдь не пользовались ни малейшим политическим влиянием, и самолюбию Орлова, как государственного человека, они

ущерба не приносили. Но его самолюбие, как мужчины, не могло не страдать от той неразборчивости, с которой избирались эти «дольщики». Достаточно было того, что человек нравился Екатерине, и этот человек, независимо от своего происхождения и положения, получал к ней самый интимный доступ. И пусть этот доступ был кратковремен, пусть в большинстве случаев «счастливый избранник» на другое же утро бесследно исчезал — все равно необходимость ради прочности политического положения «идти в долю» с подобным «избранником» не могла содействовать нравственному удовлетворению Орлова. Он был пылок и молод. И встреча с таинственной фрейлиной государыни Катей Королевой решила участь его сердца — он полюбил ее, полюбил мрачной, безнадежной, пламенной любовью.

Да, это счастье было безнадежно. Он знал, что Екатерина простит ему физическую измену, но не измену сердца. Кроме того, сама Катя относилась к нему с пугливым отвращением. А тут еще подвернулся маркиз де Суврэ, отнявший последнюю надежду на то, что, может быть, со временем чувства Королевой к Орлову изменятся в лучшую сторону. И под влиянием всего этого Орлов испытывал безнадежную пустоту в сердце, пустоту в личной жизни.

В жизни сердца наблюдается то же самое, что и в физической жизни. Человек не переносит пустоты и стремится хоть как-нибудь заполнить ее

Исголодавшийся человек плотает камешки, куски дерева и кожи, заранее зная, что от них сыт не будешь. Но он уже и не мечтает о сытости: сначала хоть чем-нибудь избавиться от этого невыносимого ощущения пустоты!

Так было и с жизнью сердца Орлова. Чтобы хоть чем-нибудь заполнить зияющую пустоту в личной жизни, он сошелся с Аделью. Она была для него лишь камнем голодающего, но камнем дорогим, нарядным и сверкающим. Сердце молчало, но физические чувства говорили. Словом, Адель была для него тем же, чем был он сам для Екатерины. И как Орлов находил острое удовольствие дерзко обманывать свою венценосную подругу почти на глазах у нее, так Адель с изумительной наглостью ставила рога своему сиятельному покровителю. При этом положение Екатерины и Орлова объединялось еще и тем, что оба они не доверяли своим друзьям, и, как Екатерина была уверена, что Орлов обманывает ее, но только не знала твердо, с кем именно, так и Орлов ни на грош не верил в верность Адели.

Правда, проделки обоих сохранились в тайне лишь до поры, до времени. Но все же, как могло случиться, что при том высоком положении, которое занимал в государстве Орлов, и при той роли модной львицы, которая выпала на долю Адели и заставляла ее быть на виду у всех, возможно было скрываться так долго? Разгадку этому мы находим именно в самих положениях

Адели и Орлова.

Положение Адели, как актрисы и фаворитки, предоставляло ей большую свободу нравов. В том, что у Адели бывала золотая молодежь, засиживавшаяся иногда чуть ли не до утра, никто не мог видеть ничего необыкновенного. А если она кое-кого из них и осчастливливала иной раз интимной лаской за приличное вознаграждение, то не шел же осчастливленный хвастаться своим успехом самому Орлову?

Точно так же и выдать Орлова Екатерине было некому. Друзья не стали бы делать это, так как падение временщика было бы и их падением. А враги не имели в руках доказательств, достаточных для полной улики измены Орлова. Панин сунулся было к императрице с шутливым замечанием, скрывавшим в себе намек на отношения Орлова и Гюс, но Екатерина навела справки, узнала, что актриса находится на содержании у Аркадия Маркова, который, хотя и не может похвастаться большим состоянием, зато ведет широкую и счастливую игру, и сочла слова Панина гнусной клеветой и интригой. В наказание она послала Панина с продолжительным поручением в Варшаву. Это было явной немилостью, так как поручение было до смешного незначительным и могло бы быть с успехом исполнено простым курьером. Это отбило охоту соваться к императрице с необоснованными документально

наветами. И достойная чета Орлов – Гюс продолжала свою недостойную игру.

Жизнь Адели шла веселым, нескончаемым праздником. Ее появление на сцене сопровождалось бурным, головокружительным успехом. Прогулки, катанья, появление в театрах в качестве зрительницы или на вечерах у знатных особ в качестве исполнительницы превращались в сплошной триумф. Подарки так и сыпались на нее со всех сторон, и мамаша Гюс с ловкостью и опытностью присяжного закладчика сортировала их – это оставить для ношения Адели, то – сохранить для показа в качестве артистических триумфов, а вот это – обратить в деньги. Даже то обстоятельство, что Роза явно сходила с ума, впадая в страшное ханжество и болезненную скупость, не мешало безумным тратам Адели; она без удержу забирала в лавках все, что ей хотелось, спокойно подавая счета Орлову, а он оплачивал их, не говоря ни слова. Ее интимная жизнь тоже отличалась если не полнотой, то разнообразием. Даже перчатки не менялись у нее с такой быстротой, как сменялись вечные «капризы на час». И я видел, как Адель падала все ниже и ниже. В Петербург она приехала девчонкой, развращенной умом, но не телом; больше знавшей и говорившей о разврате, чем занимавшейся им. В водовороте петербургской жизни она стала настоящей гетерой с холодным сердцем и горячей чувственностью. Олнажлы во время загополной

оргии подвыпивший Орлов потребовал, чтобы Адель скинула с себя одежды, и она сделала это со спокойной улыбкой и ясным взором, без малейшего румянца смущения...

А я? Но что же я! Ведь я уже описывал ранее, как еще в Париже мне пришлось смирить себя, подавить свою нравственную брезгливость. У меня не было выхода — я должен был играть свою жалкую роль. Поэтому не буду касаться своих внутренних переживаний — они однообразны и скучны. А что касается чисто внешней роли, то мне удалось очень удачно выдержать ее в тех тонах, которые предписывала выдумка Адели.

Мое положение при популярной гетере как-то никого не удивляло. Надо мной немножко посмеивались, меня считали «блаженненьким», «юродивым», «Дон Кихотом наизнанку». Но это не мешало петербуржцам интересоваться мной и относиться ко мне с искренним уважением. Мне стоило немалого труда отшучиваться и уклоняться от нежных сетей, которые мне расставляли русские аристократки, а однажды графиня Брюс, одна из интимнейших поверенных императрицы, весьма недвусмысленно намекнула мне, что, стоило бы мне пожелать, и... Но я оставался стойким и непоколебимым в решении соблюдать полную чистоту, что не мешало мне каждый

раз шутиливо оспаривать это. Таким образом, я занял выгодное положение человека, которого «никак не поймешь». Этого уже достаточно, чтобы проникнуться уважением. А уважение ко мне возросло после одного случая.

Еще с того времени, когда я под действием весеннего волнения крови поддался чарам Сесили, мною овладело твердое решение утомлять тело физическими занятиями, чтобы этим побеждать его мятеж. С этой целью я ежедневно занимался гимнастикой, много ходил пешком, совершал на лодке большие прогулки и вообще старался направить в эту сторону избыток физических сил. Конечно, в том возрасте никакая гимнастика не могла вполне гарантировать меня от падений, но зато она развила во мне привычку к упражнениям мускулов, так что однажды я случайно обнаружил в себе довольно значительную силу. Конечно, эта сила не могла идти ни в какое сравнение с силой геркулесов Орловых, но она все же производила большое впечатление, так как не вязалась с моей стройной, хрупкой фигурой. Вот эта сила и увеличила степень уважения ко мне при следующем случае.

Однажды мы отправились веселой компанией ужинать в загородный ресторан, называвшийся «Красный кабачок». Среди присутствовавших был немчик, барон фон Фельтен, очень легко напивавшийся

и в подпитии становившийся невыносимым вследствие своей неприличной придирчивости. И на этот раз у него сказался этот недостаток, причем жертвой пришлось стать Адели. Получилось очень неприятное положение. Маркова в нашей компании случайно не было, а Григорий Орлов не мог вступить за Адель, так как среди нас было несколько сторонников партии «Панин — Дашкова» (иногда приглашать таковых бывало необходимо по тактическим соображениям). Выступление Орлова на защиту чести особы такого легкого поведения как Адель, сразу скомпрометировало бы их отношения, чего, видно, и добивались «дашковцы», подзуживавшие Фельтена. Поэтому Орлову приходилось «строить веселое лицо при плохой игре», а расходившийся немчик становился все наглее и наглее.

Наконец он стал требовать, чтобы Адель поцеловала его, и в виде платы за поцелуй высыпал перед ней кучу медных монет.

Адель, недолго думая, запустила ему медью в лицо, а Фельтен назвал ее тем вульгарным, некрасивым, обидным словом, которым парижанин зовет самую несчастную, истерзанную, бесповоротно низко павшую распутницу.

У Адели от неожиданности и глубины оскорбления брызнули слезы из глаз. Я встал, подошел к Фельтену, взял его за шиворот и деликатно выбросил из окна на улицу, благо мы сидели в нижнем этаже.

Через минуту Фельтен ворвался опять к нам в кабинет и с пеной у рта стал требовать «сатисфакции», наступая на меня с обнаженной шпагой. Я достал из кармана пистолет, взвел курок и заявил барону, что драться с ним на дуэли я не буду, так как считаю человека, способного оскорбить беззащитную женщину, недостойным чести быть моим противником. Если же он, Фельтен, не успокоится и не выйдет сейчас же отсюда вон, я просто застрелю его, как дикое животное.

Все присутствующие, не исключая и друзей Фельтена, должны были согласиться, что я прав. Правда, они не соглашались с законностью моих мотивов для отказа от дуэли, но находили, что дуэль может быть решена лишь тогда, когда барон протрезвится. Словом, расходившегося офицера обезоружили и увезли домой.

Но дуэль все же не состоялась. На другое утро императрица, узнав от Орлова об этой истории, вызвала барона во дворец, хорошенько намылила ему голову и приказала сейчас же ехать извиниться перед Аделью и мной. Так и было сделано. Сконфуженный Фельтен явился к Адели с огромным букетом цветов и очень чистосердечно извинился за гнусный поступок, совершенный его «двойником».

— Ведь когда я выпью, я становлюсь совсем другим человеком, — наивно объяснил он Адели. — Вот этот «другой человек» решил погубить меня!

«другой человек» вечно подводит меня:

Фельтен был милостиво прощен и с тех пор проникся к Адели платонической страстью и бескорыстным обожанием.

А я в тот же вечер получил от государыни перстень с крупным алмазом при собственноручном письме ее величества. В этом письме, которое я благоговейно храню до сих пор, императрица писала мне, что она шлет мне этот подарок не как русская самодержица, а как женщина, благодарная за женщину. Она замечала при этом, что неудивительно, если рыцарь вступается за благородную, высокую даму, и неудивительно, если обожатель защищает честь любимой женщины. Я же вступился за женщину, от которой ничего не ищу и общественное положение которой не дает ей оснований быть уж очень обидчивой. Но женское достоинство одинаково живет в груди как аристократки, так и нищей, и, как женщина сама, Екатерина и шлет мне «этот скромный знак ее женской благодарности».

Случай с Фельтеном заставил золотую молодежь, толпившуюся около Адели, быть осторожнее и почтительнее с нею. Кроме того, интерес к артистке был еще более возбужден этим. Все наперерыв старались добиться благосклонности Адели, что удавалось довольно легко. Но о победах над «женской стыдливостью» Адели не очень-то болтали: все эти пижоны были уверены, что я ничего не знаю о

бесшабашном поведении Гюс и что таким образом они обманывают меня, бескорыстного рыцаря чести Адели.

Если бы они знали, что на другое утро после каждой такой «победы» я старательно выводил в толстой шнуровой книге:

«Января, 7-го (18) дня. От юрнета гр. Шереметева поступило:

1) Наличными в золотых русских червонцах 6.000.

2) Браслет со смарагдами – см. в книге инвентаря, стр. 19». Или:

«Марта, 3-го (14) дня. Выручено за золотое блюдо, полученное от ар. Нольде... 3.750 фр.».

Да, если бы они знали об этом! И если бы знала это императрица, которая с таким удовольствием принимала меня на своих эрмитажных собраниях, постоянно подчеркивая во мне человека знатного происхождения и высокой чистоты!

II

Шло время. Наступала зима с ее суровыми морозами, неистовыми выюгами и веселым катаньем на бешено мчащихся тройках. Пришло радостное Рождество

с новыми увеселительными поездками, ряженьем, кутежами. А там и Масленица показала свое сытое, румяное лицо! Вот уж действительно русский национальный праздник – эта Масленица! Мы с Аделью попробовали было один только разочек справить ее по-русски, да и то пришлось звать доктора, и добрый Роджерсон, лейб-медик императрицы, немало ворчал, избавляя нас от конвульсий и спазм, причиненных непомерной тяжестью блинов. Представьте себе толстую лепешку из теста, жирно поливаемую маслом и сметаной. Вот эта лепешка и называется у русских «блин». Сверх масла и сметаны русские накладывают еще икры или соленой рыбы, а любители запекают в самое тесто особых маленьких рыбок, называемых «снятки», или мелко искрошенные яйца, лук и т. п. И таких лепех, приправленных всякой всячиной, хороший едок отправляет в свое чрево до 25—30 штук! Алексей Орлов ухитрялся доводить это количество до полусотни. Впрочем, я видал тоненьких «субтильных» дам и девиц, которые съедали по пятнадцать блинов. Мы с Аделью съели что-то по пяти или по шести блинов, да и то нам сделалось скверно, а ведь русские вдобавок заливают неимоверное количество пожираемого теста не менее неимоверным количеством водки, вина и кваса. А после блинов они едят еще уху, что-нибудь жареное и сладкое! Бог мой! Мне рассказывали, что у русских сложилась такая поговорка: «Что русскому здорово, то немцу

смерть». Наверное, эта пословица имеет в виду блины!

Кончилась неделя масленичного обжорства, и столица приняла унылый вид. Печально перезванивались колокола, напоминая жителям о необходимости покаяния и молитвы. Только в России я понял, какое мудрое установление – Великий пост! Ну, что случилось бы с русскими желудками, если бы после Масленицы для них не наступало принудительной диеты?

Но и пост промелькнул, наступила Пасха. А там повеяло весной, наступили перламутровые, белые ночи, полные мечтательной неги, полусознательного томленья... Я стал с ожесточением заниматься гимнастикой, совершал далекие путешествия по Неве на взморье, даже колол дрова, побеждая беса сладострастия. Быстро проскользнуло короткое задумчивое лето. Пришла золотая осень с ее бодрящей свежестью. И тут у нас появились новые заботы.

Адель была приглашена в Россию только на один год; ее контракт ясно гласил, что по истечении пробного годового срока интендант придворных театров должен известить ее о желании или нежелании продолжить срок договора; в случае, если интендант не найдет нужным удерживать артистку на более продолжительное время, она через шесть месяцев может вернуться домой.

Конечно, легкомысленная Апель ни о чем таком

даже не думала. Когда я обратил ее внимание на это обстоятельство, она поручила мне все устроить. Я отправился к Сумарокову, заведовавшему придворными труппами, но интендант заявил мне, что он должен сначала доложить об этом ее величеству, и просил меня навестить через недельку.

Однако и через недельку оказалось, что вопрос все еще не решен и находится на заключении у личного секретаря ее величества Одаря. Я отправился к Одару. Он принял меня очень любезно, наболтал много всякой любезной чепухи, но прямого ответа все же не дал, намекнув, что вопрос о продолжении срока контракта Адели находится в весьма неопределенном состоянии, так как возникли совершенно особые трения, не имеющие ничего общего с искусством. Он дал мне совершенно ясно понять, что в разговоре со мной эти трения не могут быть устранены и будет лучше всего, если к нему заглянет «многоуважаемая мамаша девицы Гюс».

Но тут я должен представить читателю несколько сценок, без которых все дальнейшее не будет достаточно понятным. Сам я узнал об этой интриге лишь случайно и во время вторичного пребывания в России. Но не все ли это равно? Ведь я описываю здесь пеструю историю приключений девицы Гюс, а не хронологию поступавших ко мне сведений?

Дашкова, так неожиданно попавшая в открытую немилость и просидевшая целый месяц под домашним арестом, не могла помириться со своим поражением, понесенным как раз в тот момент, когда в душе она уже торжествовала победу. Читатель помнит, что она надеялась вызвать охлаждение Екатерины к Орлову разоблачением проделок последнего, вызвавших бегство принца Фридриха. Домашний арест и нежелание императрицы видеть Дашкову лишали энергичную подругу графа Панина возможности взять реванш. А вскоре дальнейшее течение событий показало ей, что бегство принца вообще надо выбросить из арсенала нападений на фаворита, так как Орлов сумел предохранить себя с этой стороны. Однажды на эрмитажном собрании маркиз де Суврэ начал было разговор о бывшем женихе императрицы, и испуганным Орловым с трудом удалось отвлечь внимание Екатерины от этой опасной темы. Чтобы навсегда покончить с этим, они решили «повиниться». Орловы выбрали наиболее удачный момент, когда расположение Екатерины к своему любимцу вновь достигло краткого апогея, и в шутливой форме рассказали государыне о бедствиях, перенесенных Фридрихом Эрдманом. При этом они, разумеется, сказали только часть правды.

Екатерина много смеялась, журила Орловых, но тем дело и кончилось. Теперь уже нечего было разоблачать: полуправда в большинстве случаев является лучшей броней для тайны.

Вскоре случились одновременно два маленьких события. Елизавета Воронцова, в сущности, не любившая Орловых, а видевшая в Алексее убийцу ее обожаемого Петра III, вздумала пойти им наперекор в каком-то пустяке. Теперь она была уже не нужна им: Панин был услан с поручением, у Дашковой отняли ее оружие. И Орловы решили отделаться от Воронцовой. Случай к этому скоро представился: Екатерине пришла в голову сумасбродная мысль женить Алексея Орлова на Воронцовой. Алексей был искренне привязан к своей Тарквинии, к тому же Воронцова была некрасива и капризна. А Воронцова, втайне чтившая память того, кого она называла «святым мучеником», считала святотатством даже мысль о возможности брака с «палачом мученика». Выражение, неосторожно вырвавшееся у нее по этому поводу, было немедленно передано государыне, и Воронцова перестала появляться при дворе.

Зато ко двору снова явилась Дашкова, причем Орловы сумели дать ей понять, что прощение состоялось лишь по их настоятельной просьбе. Но они сильно ошибались, если думали, что им удастся умиротворить этим ее мстительность. Нет. Дашкова

только притихла, только затаила глубже жажду свести счеты с ненавистным фаворитом. Но теперь она хотела нанести удар решительно, верно и метко. И для этого разработала целый план.

Да, поднимать историю принца Фридриха было бы неумно и бесцельно; к тому же Екатерина относилась к своей бывшей любимице очень холодно и не снисходила до простой неофициальной беседы с ней. Но ведь Екатерина потому отнеслась так снисходительно к проделке фаворита, что видела в этом проявление его ревности. Но что, если Дашковой удастся доказать государыне, что в это же время Орлов изменял своей царственной возлюбленной? Екатерина будет двояко уязвлена. Она будет оскорблена как женщина, а как государыня, она увидит опасность в опеке, которой ее окружили Орловы. Ведь если не ревность диктовала Григорию желание избавиться от соперника, значит, он вмешался в это сватовство из политических мотивов; значит, он и в другом может действовать вразрез с ее намерениями. А Екатерина к своей власти относилась еще более ревниво, чем к своему женскому обаянию.

О, будь у Дашковой прежние отношения с государыней, какие были с робкой великой княгиней и гонимой императрицей-женой, тогда и говорить было бы нечего! Ведь в те времена Екатерина советовалась с Дашковой обо всем и позволяла ей обсуждать что

удовно. Дашкова сумела бы доказать государыне, что связь Орлова с Гюс — не одни лишь сплетни, что это — не обычная мужская шалость, так как многое в отношениях Орлова к Гюс является злейшим оскорблением императрицы, таким, какого не простит своему возлюбленному самая серая мещанка. Достаточно уже того, что цепь, подаренная Екатериной Орлову, была переделана в браслет, который Гюс носила на ноге! И тогда не понадобилось бы представлять фактические доказательства: их добыла бы сама государыня, приказав сделать обыск в доме актрисы.

Но теперь этот путь не годился. Теперь государыня не даст ей и рта раскрыть, и новая немилость будет наградой за попытку разоблачить предательство фаворита. Теперь к императрице надо идти с документом в руках. И, сидя под домашним арестом, Дашкова тщательно обдумывала план, как добыть уличающий документ. Для этого она с тщательной, кропотливой старательностью окружила Гюс тайным надзором и вела свою линию с той гениальной прозорливостью, какую дает женщине пламенная ненависть.

Разумеется, этой ненависти она отнюдь не питала к Адели. Она скорее симпатизировала актрисе, и впоследствии, когда они обе встретились в Париже, они были добрыми приятельницами. Но Гюс была оружием

для низвержения Орлова; так пусть же сломается оружие, лишь бы оно нанесло смертельную рану врагу.

Сведения, доставленные Дашковой ее шпионами, вполне подтвердили ее подозрения относительно связи Орлова и Гюс, которые родились в ней еще на знаменательном вечере в доме фаворита. Дашкова знала в точности, когда именно бывал Орлов у актрисы, сколько он у нее сидел; где они были, что делали, что подарил ей фаворит – словом все. Но это не были фактические доказательства. Чтобы добыть их, Дашкова обратилась к помощи Маши Петровой.

Маша была вольноотпущенная крепостная Дашковой, ее молочная сестра и подруга ее детских игр. Дашкова обучила ее читать и писать, вместе с нею занималась французским языком, возила с собой за границу и сделала из Маши настоящую субретку из комедии Мольера – умную, грамотную, ловкую, хитрую и бесконечно преданную своей госпоже. И вот, узнав, что Адель благодаря своему дурному характеру вечно нуждается в опытной камеристке, Дашкова сумела пристроить на это место Машу.

Последняя сразу вошла в доверие Адели и расположила ее к себе ловкостью и смирением. И хитрая камеристка стала терпеливо ковать свои сети. Однажды Адель бросила полученную от Орлова записку в камин и сама ушла из комнаты. Маша выхватила слегка обуглившуюся бумажку, прочитала и спрятала. В другой

раз Адель послала Машу с запиской к Орлову. Печать была плохо приложена, и Маша, вскрыв и прочитав записку, передала несложное поручение на словах. Так же она поступила и с ответом Орлова.

Теперь в ее руках было три документа. На следующее утро, причесывая Адель, она намеренно дернула ее за волосы; Адель взвизгнула, ударила камеристку, та «обиделась» и отказалась от места. После этого Маша вообще исчезла на некоторое время с горизонта: для безопасности Дашкова услала ее в одну из своих деревень; сама же, спрятав записки в мешочек, с которым она не расставалась, стала ждать случая. И вскоре таковой представился ей.

IV

Однажды Екатерина застала Дашкову в одной из комнат дворца, когда княгиня сидела, задумавшись о Панине. Она только что узнала, что на скорое возвращение графа нет надежды, и ей сильно взгрустнулось. Дашкова думала о своей юности, полной радостных надежд и мечтаний, вспоминала годы дружбы с Екатериной, переворот, осуществившийся в значительной степени благодаря ее деятельной пропаганде. И на ее красивых глазках проступили слезы при мысли, что теперь у нее, кроме Панина, нет ни одного близкого человека и не с кем ей поделиться

одного близкого человека и не с кем ей перемолвиться искренним, задушевным словом.

Екатерина несколько минут смотрела на грустное лицо своей бывшей приятельницы, и в ее душе цевельнулось чувство сожаления. Она подошла к Дашковой, ласково обняла ее и сказала:

— О чем задумалась, Катенька, и чего ты загрустила?

Дашкова сейчас же решила ковать железо, пока оно горячо. Она схватила руки императрицы, стала целовать их, стряхивая слезинки, и лихорадочно зашептала:

— Не спрашивайте лучше, ваше величество, лучше не спрашивайте!

— Но почему же мне и не спрашивать? — удивленно отозвалась Екатерина, целуя Дашкову в заплаканное личико и усаживаясь рядом с нею.

— Потому что все равно вы не поверите мне! О, какая это мука — все видеть, все знать и... молчать! Видеть, как на каждом шагу обманывают самого дорогого, самого обожаемого тобой человека, держать при себе документы, подтверждающие этот обман, и... молчать... молчать потому, что тебе все равно не поверят, тебя не выслушают, тебе не дадут договорить до конца!

Дашкова заплакала опять: она умела входить в роль.

— Но что с тобой, Катя? Право, я ничего не понимаю! Ты больна?

— Телом — нет, но мое сердце разрывается от боли...

– Но ты, наверное, больна! Уж не бред ли у тебя? Кого-то обманывают, какие-то документы...

– О, если бы это было бредом!

– Да кого обманывают-то?

– Кто же мне дороже всего на свете? Кого я обожаю, как свое божество? О, ваше величество! Три года тому назад вы не спросили бы об этом! Тогда вы знали бы, что только из-за вас я могу так страдать! Да, ваше величество, обмануты вы!

Екатерина вздрогнула, брезгливо отдернула руки, которыми она нежно обнимала Дашкову, и презрительно сказала:

– Вы, ваше сиятельство, опять принимаетесь за старое? Опять интриги и сплетни?

– Я заранее говорила, что мне не поверят! – с отчаянием крикнула Дашкова. – О, почему я не могла промолчать! Но теперь...

– Нет-с, княгиня, теперь вы молчать не будете, теперь вы договорите до конца! Но только помните одно: каждое обвинение должно быть доказано документально! Иначе... Благоволите вспомнить, ваше сиятельство, что я не церемонюсь с интригующими сплетниками! Ну-с, я жду!

– Ваше величество! Я знаю, что господа Орловы...

– Вы хотите, вероятно, сказать – графы Григорий и Алексей Орловы? Но это – мелочь. Продолжайте!..

– Я знаю, что графы Орловы повинились вашему

величеству в ряде проделок над принцем Фридрихом Эрдманом. При этом они сообщили вашему величеству только половину правды и представляли все это дело много иначе, чем оно происходило на самом деле. Но и сказанного ими было бы достаточно для гнева вашего величества, однако вы объяснили мотивы графа Григория ревностью и потому...

— У вас имеются документальные данные, подтверждающие мои чувства и мотивы, княгиня? Нет? Тогда я уже попрошу отложить рассуждения до более удобного времени!

Дашкова вспыхнула, встала, засунула руку за корсаж, достала оттуда шелковый пакетик, разорвала его и сказала:

— У меня имеются документальные данные, что граф Григорий Орлов, с ведома и попустительства своего брата Алексея, смеется над вашим величеством в объятьях низкой распутницы и что эта связь возникла в то время, когда «февность» графа Григория вызвала его на ряд недостойных проделок над принцем Фридрихом. Вот эти данные!

Екатерина взяла из рук Дашковой три записки, и при первом же взгляде на них ее лицо покрылось сильной бледностью. Однако она мощно подавила в себе движение слабости и волнения. Она пробежала записки и сказала с холодным пренебрежением:

— Недурно сделано! Пощерк графа Григория очень

— недурно сделано: почерк графа Григория очень похож! Скажите, княгиня, это вы сами писали или давали на заказ?

— Ваше величество! — вскрикнула Дашкова, не веря своим ушам.

— Молчите, княгиня! — строго оборвала ее императрица. — Вы заслуживаете того, чтобы я отдала вас под суд за учинение подлога с целью ввести в обман свою государыню. Но в память прежней дружбы, которой я дарила вас когда-то, я избавляю вас от этого позора. Вы еще недавно просились у меня за границу для поправления своего здоровья? Поезжайте! Даю вам два дня на сборы! Но если третьи сутки застанут вас в Петербурге, то вы отправитесь прямо в тюрьму! И помните еще, что, если вы вздумаете распускать ваши гнусные сплетни и впредь, моя карающая рука достанет вас и за границей! А теперь подите вон!

Дашкова хотела что-то сказать, судорожно плотнула воздух и рухнула в глубоком обмороке. Императрица приказала дежурному камергеру отправить Дашкову домой, послать к ней Роджерсона и по приведении в чувство напомнить Дашковой, что повеление государыни остается в прежней силе, несмотря ни на какие обмороки или болезни. Затем, взяв с собой записки, государыня удалилась в кабинет, куда через полчаса был вызван Одар.

Одару Екатерина сказала:

– Помните: все, услышанное вами здесь сейчас, должно навсегда остаться в тайне. Взываю не к вашей порядочности, а к вашему разуму. Вы знаете, как я умею благодарить и как умею карать. Мне нужен ваш совет. Слушайте!

Екатерина рассказала ему разговор с Дашковой и подала записки. Одар прочел:

«Государыня по счастливой случайности занемогла, и я сегодня вечером свободен. Жди меня с компанией к ужину. Вероятно, брат Алексей тоже завернет. Во всяком случае, чтобы хватило персон на двадцать пять; мы будем нашим тесным кружком. Так будь умницей и устрой все, как следует. Значит, до скорого свидания. Целую твои лапки!»

«Милый Гри-Гри, мне непременно надо знать наверное, состоится или нет наша «охота» в субботу, так как сегодня вечером будет распределение спектаклей, и если я не приму мер, то может случиться, что я окажусь занятой. Если же я откажусь на субботу, а наша поездка будет перенесена на другой день, то опять-таки может выйти неловкость: нельзя же

отказываться постоянно. Непременно ответь хоть на словах!»

«Охота будет, но настоящая: государыня пожелала принять участие в ней. Значит, до другого раза».

— Ну, что же, — сказал Одар, — это лишь документальное подтверждение того, что было известно всему Петербургу...

— Скажите мне, что представляет собою эта Гюс? Любит она графа?

— О, нет! Она изменяет ему направо и налево, но устраивается так ловко, что поймать ее с поличным графу не удалось. Это не мешает графу изредка устраивать ей грубые сцены, и вообще их совместная жизнь не блещет розами. Впрочем, сама Гюс не так уж виновата. Небо послало ей вместо матери жадное чудовище, которое толкает девушку в объятия всякого, способного щедро заплатить за это.

— Но какая же роль приходится во всем этом на долю маркиза де Бьевра?

— О, самая жалкая! Маркиз проповедует девице Гюс добродетель и ничего не видит, что делается у него под носом.

— И с такой негодницей Орлов обманывает меня! Я бы поняла любовь, страсть, увлечение... Я сама — человек и могу понять и простить многое... А тут... Но

выслушайте меня, Одар, и дайте мне совет. Я изложу вам весь ход моих мыслей, чтобы вы могли знать, в чем именно я колеблюсь!

Когда я увидела эти записки, я должна была собрать всю свою силу воли, чтобы не дать взрыву бешенства овладеть мной. Я притворилась, будто не верю подлинности записок, и приказала Дашковой через двое суток выехать за границу. Иначе я не могла поступить. Ведь я не знала, на что я решусь. А ведь если положение обманутого, но не верящего обману — смешно, то положение бессильного отомстить за обман человека — унижительно. И я стала думать...

Как больно мне было читать: «Государыня по счастливой случайности занемогла»! Но я призвала на помощь все свое хладнокровие, всю ясность своего ума и тогда увидела, что этим словам можно придать совсем другое толкование. Ведь Орлов радовался не моей болезни, а тому, что эта болезнь случилась именно в тот день, когда ему хотелось отдохнуть на свободе. Я знаю, что наши утонченные собрания тяготят Орловых — они с отроческих лет привыкли к диким, беспшабашным, истинно-русским увеселениям. Под моим влиянием они приобрели значительный внешний лоск. Но возможно ли, чтобы самое сильное влияние в корне переродило саму натуру человека?

Словом, рассуждая логически, я поняла, что всю эту историю нельзя принимать в том виде, в каком она

... истерике... может показаться с первого взгляда. Но нельзя было и махнуть на нее рукой. И я стала перебирать все средства и возможности выйти из создавшегося положения.

Продолжать умышленно закрывать глаза? Притвориться, будто я не верю в связь Орлова с этой распутницей? Нет, это совершенно невозможно! Если бы Гюс была скромной, любящей девушкой, я могла бы махнуть рукой на свои женские чувства, могла бы отнестись к этой истории лишь как государыня, которая не может мстить за женщину... Но при этих обстоятельствах... Нет, нет, это невозможно!

Покачать Орлова? Падением его влияния отомстить за нанесенное мне оскорбление? Но ведь оскорблена женщина, а государыня нуждается в Орлове. Ведь вы знаете, Одар, что политический горизонт не спокоен, что с минуты на минуту Восток может вспыхнуть военным пожаром! Орловы не хватают звезд с неба, но в них трон имеет серьезную опору. Так неужели из женской ревности нанести вред стране, быть может, пошатнуть трон?

Обрушиться на Гюс? Но ведь Екатерина-женщина не может ничего сделать ей, а благородно ли будет пользоваться в таком деле преимуществом положения? Да и против кого? Против какой-то распутницы, уличной девчонки? А кроме того, что я могу сделать ей? Выгнать ее из России? Никогда! Ведь это значило бы...

разласить историю по всей Европе... О, для популярности Гюс это было бы отличным средством, но в каком жалком, смешном положении очутилась бы я сама!

Так вот каково положение, Одар: я должна что-нибудь сделать, и в то же время ничего сделать не могу. Помогите мне, дайте мне совет!

– Но, ваше величество, отделаться от Гюс так просто! – ответил Одар. – Как раз сегодня утром у меня был Сумароков. Он просил меня доложить вашему величеству в свободную минутку о контракте девицы Гюс. Контракт истек, и от воли договаривающихся сторон зависит возобновление его в шестимесячный срок. Сумароков сказал, что Гюс требует теперь двойного жалованья при пятилетнем сроке. От нас зависит не принять этих условий, выплатить госпоже Гюс жалованье за полгода, как мы обязаны сделать в случае невозобновления контракта, да и пусть себе едет с Богом! Вот мы и избавились от нее!

– А если она не уедет?

– А что же она будет здесь делать, раз она останется без ангажемента?

– Поверьте, щедрость графа Григория для нее дороже всякого ангажемента... Да и все равно – это не годится, Одар, уедет ли она или останется. И в том, и в другом случаях отказ возобновить контракт будет истолкован мелкой ревностью, и эта развратница

останется восторжествовавшей. Нет, вы поймите, чего я хочу, Одар: я хочу, чтобы и Гюс, и Орлов понесли заслуженное наказание, чтобы они были проучены, но чтобы при этом — я сама, как государыня, осталась в стороне. Вы — умный человек, Одар, и, если дадите себе труд подумать, изобретете какую-нибудь комедию, развязка которой даст то, что я хочу!

Одар задумался. Вдруг его лицо просветлело, и на губах появилась тонкая ироническая улыбка.

— Я придумал, ваше величество, — сказал он, — но для того, чтобы мой план удался, необходимо предоставить вопрос о контракте с Гюс всецело в мое распоряжение. Кроме того, мне нужна будет порука вашего величества, что граф Григорий не станет вымещать на мне свою злобу. Ну, и... некоторое количество золотых монет мне тоже понадобится...

— У вас будет все! — обрадованно воскликнула императрица, — только Бога ради не томите и расскажите, что вы придумали?

Одар сообщил государыне свой план. Екатерина, выслушав его, даже захлопала от восторга и попросила Одара не терять времени даром. Одар сейчас же отправился к Сумарокову и взял у него все бумаги, относившиеся к Адели. Вскоре после этого-то я и попал к нему. Как я уже говорил, Одар дал мне понять, что о продолжении контракта ему будет удобнее переговорить не со мной, а с мамашей Гюс. С этим я и вернулся

домой.

VI

Мы с Аделью были немало встревожены, зачем понадобилась Роза Одару, и, пока она ходила к секретарю государыни, мы на всякие лады пытались решить вопрос, в чем тут дело. Вероятнее всего было, что государыня узнала о шалостях своего Адониса, и Адели грозила какая-нибудь беда.

— Но почему же в таком случае Одар не мог сказать этого тебе? Почему он вызвал не меня, а мать? — недоумевала Адель.

И я должен был согласиться, что, очевидно, дело не так просто, как мы предполагали.

Эта неизвестность бесконечно угнетала нас.

Наконец пришла Роза. Она задыхалась, сопела, но сияла удовольствием.

— Ну и счастливица же ты, Адель! — затараторила она. — Уж так тебе везет, так везет... Конечно, с другой стороны, оно и нелегко: Орлов и много других... Да и Одар так некрасив... Но в Писании сказано: «Истязующий плоть, спасает душу», и...

— Не богохульствуйте! — с негодованием крикнул я, тогда как Адель смотрела на мать широко раскрытыми глазами.

По словам этой женщины! — женщина и она

— да говори ты толком! — крикнула и она.

Роза тупо посмотрела на нас обоих по очереди и сказала, обращаясь к Адели:

— Нет, ты мне вот что скажи, дура-девка! Оказывается, ты, не спросясь меня, потребовала, чтобы в новом контракте тебе удвоили жалованье... Удвоили! Да ты скажи только, могла ли ты серьезно думать, что согласятся исполнить такое дурацкое требование?

Адель звонко расхохоталась.

— Помнишь, что нам сказала мадам Пижо, когда я покупала последнюю шляпу? Она сказала: «Я не слыхала, мадемуазель, чтобы человека посадили в тюрьму за то, что он высоко ценит свой труд!» В конце концов тут играет для меня роль лишь артистическое самолюбие, а само по себе это жалованье слишком незначительно в сравнении с тем, что я трачу... Так что я охотно уступила бы, если бы вздумали торговаться. Но ты уж, наверное, слишком быстро пошла на уступки и все испортила!

— Да ничего похожего! — ответила Роза. — Меня то-то и удивляет, что готовы дать тебе требуемую прибавку!

— Да неужели? — радостно крикнула Адель. — Представляю, как позеленеют от зависти...

— Постой, постой, дочка! — благодушно остановила ее Роза. — Дело еще не сделано, и не следует делить шкуру еще не убитого медведя! Ее величество всецело

предоставила вопрос о продлении твоего контракта и об увеличении гонорара решению Одара, ну, а ты сама знаешь, что этот господин ничего даром не делает!

— Так что же из этого? — презрительно кинула Адель. — Значит, этому господину надо сунуть что-нибудь? Ну, так возьми денег и ступай к нему хоть завтра же!

— Э, нет, дочка! То, что нужно Одару, можешь дать только ты, а никак уж не я! — ответила старуха.

Теперь мы поняли наконец, и бомба взорвалась. Адель побагровела, вскочила с кресла, и, призвав на помощь весь богатый арсенал парижских уличных ругательств, принялась осыпать ими мать. Роза спокойно слушала, ожидая, когда вдохновение Адели иссякнет.

— Ну, кончила наконец? — сказала она тогда. — А теперь ты мне вот что скажи: что тебя собственно так возмущает?

— Да ведь это — отвратительный, грязный урод!

— Те-те-те! До сих пор ты, кажется, обращала внимание на выгоду, а не на наружность!

— Да ведь мне приходится расплачиваться за свое же добро! Я сама создала себе артистический успех, подписание нового контракта является лишь следствием, лишь признанием моего таланта и успеха, и за это я еще должна расплачиваться такой ценой? Никогда!

– И из-за таких пустяков ты предпочтешь вернуться со срамом во Францию?

– Ну, это мы еще посмотрим! Мне стоит только сказать Орлову о домогательствах подлого пьемонтца, Григорий лично доложит ее величеству, и...

– И через двадцать четыре часа ты будешь мчаться по направлению к границе под строгим конвоем, тогда как Одар еще более утвердится в милости императрицы!

Адель даже рот разинула.

– Да ты совсем рехнулась, что ли? – злобно сказала она.

– А ты бы вместо того, чтобы драть горло, лучше спросила, почему именно государыня поручила этот вопрос Одару, а не директору театров, которого ангажемент артисток касается гораздо больше?

– В самом деле, почему?

– Вот то-то «почему»! Потому что государыня прослышала о шалостях графа Григория и вовсе не расположена терпеть около себя соперницу. Вот она и поручила расследовать это дело Одару. Если он найдет, что между тобой и графом что-нибудь есть, тогда тебя выгонят со скандалом, а если расследование не подтвердит доноса, то государыня рада удержать у себя хорошую артистку, отъезд которой подал бы вдобавок пищу сплетням, не основанным на действительном факте. Ну, а ты сама знаешь, какая тонкая шгучка этот Одар. Оказывается, он уже давно вывел на свежую воду

Одар. Сказывалось, он уже давно вывел на свежую воду твои пашни с Орловым, и, когда я попробовала отпираться, он доказал мне такую осведомленность, что мне оставалось лишь замолчать. Только пока Одар еще ничего не сказал государыне, а его доклад будет зависеть от того, согласишься ли ты исполнить его желание или нет. Теперь ты подумай, что произойдет, если Орлов вздумает жаловаться государыне на Одара. Последний скажет, что хотел лишь проверить свои данные и что жалоба Орлова блестяще доказывает справедливость возведенного на фаворита обвинения!

— Но, может быть, это и есть ловушка!

— Полно тебе! Ведь я же говорю тебе, что Одар имеет в руках все доказательства!

— А, так он хочет воспользоваться своей силой, он хочет принудить меня к этому? Ну, это ему не удастся! Никогда! В таком случае я сама завтра же заявляю, что не желаю оставаться в этой варварской стране и отказываюсь от возобновления контракта! Я достаточно молода, красива и талантлива, чтобы сама ставить требования, а не позволять ставить их себе!

— Да ты проспись лучше! Что ты говоришь только!

— Я говорю: никогда, никогда и никогда!

— Ну, так и я тебе говорю, что в моих руках имеется средство помешать тебе сделать эту глупость! Вспомни, что ты обязана мне полным послушанием!

Адель вздрогнула, словно ее ударили бичом, и

прошипела, побледнев как полотно:

– Знаешь что! Ты мне так осточертела с этим «послушанием», что когда-нибудь ночью я попросту придушу тебя подушкой!

– Друг мой, – спокойно ответила Роза, – я не боюсь смерти, так как она не застанет меня неподготовленной. Я исповедуюсь через каждые два дня, и у меня нет ни одного греха в прошлом, которого не отпустил бы мне аббат Фор. Таким образом я бестрепетно предстану перед лицом Высшего Судии, а мученическая кончина лишь облегчит мне пребывание в чистилище. Зато подумай о себе! Какая участь может ждать за гробом клятвопреступницу и матереубийцу?

Адель заплакала от бессильной злобы и хотела выйти из комнаты.

– Стой! – повелительно остановила ее Роза. – Сначала потрудись дать мне ответ!

– Завтра утром я отвечу тебе, проклятая! – с ненавистью сказала Адель.

– Хорошо, я подожду! – иронически согласилась Роза. – Утро вечера мудренее. Но если ты рассчитываешь в течение ночи избавиться от меня, то не трудись напрасно: теперь уж я не оставлю двери своей спальни открытой!

Но Розе не пришлось ждать до утра: Адель дала свое согласие еще вечером, и на поспешность этого решения оказал немалое влияние сам Григорий Орлов. В

последнее время отношения между ним и Аделью были значительно испорчены. Граф обращался с артисткой очень грубо и презрительно, постоянно осыпая ее обвинениями в измене. Было сразу видно, что кто-то нашептывает ему на нее, и самолюбие Орлова сильно страдало. Он все чаще приходил невзначай, надеясь застать у Адели соперника, и, не находя никого, раздражался еще более. Так было и на этот раз. Адель лежала у себя на кушетке, приказав горничной никого не пускать к ней. Орлов, разумеется, не поверил камеристке, силой ворвался в спальню, обыскал там все, даже ткнул шпагой в пуховики кровати и в заключение обозвал Адель довольно некрасивым словечком, весьма недалеким от того, которым оскорбил ее когда-то пьяный Фельтен. Адель знала, что это бранное слово вполне заслужено ею, и это-то обозлило ее больше всего. Кроме того, она считала, что если Орлов и прав по существу, то фактически, за отсутствием прямых улик, он неправ. Поэтому сейчас же по уходе Орлова она заявила матери, что требование Одара будет удовлетворено. Так в плеяде «дольщиков» Орлова появился уродливый, как черт, и, как черт, умный пьемонтец Одар.

VII

Итак Адель стала возлюбленной двух фаворитов.

так, Адель стала возлюбленной двух фаворитов: «физического» и «духовного», если так можно выразиться. Действительно, если не вкладывать в слово «фаворит» специального альковного смысла, Одар можно смело назвать им. Екатерина очень ценила его тонкий, пронизательный ум, относилась к нему с большим доверием и легко мирилась с его безнравственностью. Она говорила о нем:

«Люди такого ясного ума, как Одар, неспособные к иллюзиям и самообольщению, могут быть или праведниками, или нечестивцами, потому что они слишком разумны для половинчатой игры. Темперамент не позволяет Одару быть праведником, ему остается быть лишь нечестивцем. Но зато с Одаром легче, приятнее и надежнее вести дело, чем со многими другими. Заменяя неустойчивое, туманное понятие «добродетель» вполне определенным понятием «выгода», он тем самым дает возможность всякому открыто знать, чего держаться в обращении с ним. А ведь это очень важно! Другой способен предать без всякой выгоды – просто из болтливости, хвастовства, угодничества. Одар никогда не предаст – он просто продаст, как расчетливый купец».

Адель не знала и не могла знать, что в этой истории она является действительной жертвой и что на этот раз Одар продает «с костями и кожей» именно ее. Поэтому немудрено, если хитрому пьемонтцу быстро удалось

искренне расположить ее к себе. Потом я нимало удивлялся, с каким знанием человеческой души, с каким тонким учетом всяких случайностей был составлен хитрый план Одара, осуществившийся с точностью математического расчета.

Пьемонтец начал гнуть свою линию с первого же момента. Явившись на другой день к Адели с изящным букетом цветов, он обратился к ней со следующими словами:

— Извините меня, милая барышня, что для осуществления своих домогательств я прибег к случайной выгоде и преимуществу положения. Но что же мне было делать, раз все мое существо так властно рвалось к вам? Ведь приди я к вам и объяснись в своей страсти, вы попросту прогнали бы меня! Вы сочли бы себя униженной тем, что такой урод, как я, осмеливается домогаться взаимности. Конечно, будь я богачом, я сложил бы к вашим дивным ножкам все свое состояние. Но что может дать бедный Одар по сравнению с теми земными благами, которыми осыпают прославленную Аделаиду Гюс князя мира сего?

— Согласитесь во всяком случае, что вы поступили не очень-то по-рыцарски! — холодно заметила Адель.

— Но, помилуйте, чем же, в сущности говоря, так называемый «рыцарский поступок» отличается от других способов покорения сердца — будь то купеческий с пожертвованием всего состояния или предательский с

пользованием преимуществом положения? — горячо отозвался Одар. — Вы только вспомните, как действовали рыцари. Если дама сердца не отвечала рыцарю взаимностью, он отправлялся совершать подвиги, даме совершенно ненужные, потом возвращался и говорил: «Благородная и добродетельная дама! Ради вас я столько-то раз рисковал здоровьем и жизнью, получил столько-то ран и совершил столько-то славных дел. Поэтому вы должны теперь быть моей!» А так как он говорил это с горячим убеждением, которое имеет свойство заражать, то дама начинала думать, что она и в самом деле «должна» стать его, и... становилась! Ну, а что он давал даме за ее любовь? Раны, которые могли лишь помешать ему быть на высоте положения истинного друга сердца, и подвиги, даме ровно ни на что ненужные! Ну, а купец или предатель дают даме за ее любовь нечто такое, что ей действительно нужно, а не всучивают подобно рыцарям ненужный хлам!

— Иначе говоря, вы хотите сказать, что любви таких созданий, как я, не добиваются, ее покупают? — с горечью сказала Адель. — Отлично! По крайней мере искренне! Что же — торговля так торговля! Вы хотите купить обладание мной и ценой назначаете продление моего ангажемента на поставленных мною условиях? Отлично! Торг заключен! Когда вам угодно будет воспользоваться покупкой и когда я могу получить условленную плату?

— Нет, нет! — с испугом вскрикнул Одар. — Бога ради не говорите со мной таким тоном, иначе вы заставите старого уroda Одара совершить несвойственный ему поступок! Ведь я способен принести вам ваш контракт и отказаться от того, что вы называете простой «покупкой»! Это несвойственно мне, и я никогда не прощу себе такой нерасчетливой глупости; но поверьте, что мне было бы бесконечно тяжело встретить с вашей стороны лишь одно холодное подчинение неизбежному!

— А вы считаете себя вправе рассчитывать на что-либо иное? Или, может быть, вы находите, что за ту же цену можно купить искреннюю любовь и горячую страсть?

— Нет, барышня, — грустно возразил пьемонтец, — я знаю, человек может продать лишь то, чем сам владеет, ну, а в любви и страсти человек неволен. Да и где уж такому чертову уроду, как я, рассчитывать на любовь и страсть. Но мне не хотелось бы, чтобы вы относились ко мне в душе враждебно и презрительно. Мне хочется хоть немного ласки. Ведь я одинок, страшно, бесконечно одинок. Одни уважают меня за ум, другие ненавидят за безнравственность. Одни зависят от меня, другим я нужен, третьим я мешаю. Этим исчерпываются все мои отношения с людьми. Ласки, симпатии, сочувствия я не вижу ни в ком, и умри я сейчас, сию минуту, обо мне пожалеют лишь те, чьи дела я не успел доделать. Да и те

скажут: «и не мог этот грязный урод подождать умирать дня два? Потом-то черт с ним!» И это было бы единственным надгробным словом у моего неостывшего трупа!

Этими словами, которыми Одар так удачно симулировал мнимую жажду ласки, хитрый пьемонтец тонко и метко попал прямо в намеченную им цель. Ведь жажда ласки была больным местом Адели, которую порою сильно мучила окружающая ее атмосфера корыстной грубости. Ведь она могла бы и к себе самой отнести слова Одара. Из всех окружавших ее лишь один я не был ни в чем заинтересован. Но Адель знала то, что не мог знать Одар: знала, что я недобровольно играю роль бескорыстного друга. Зато Одар отлично знал другое: как бы низко ни пала женщина, она никогда не перестанет мечтать об искренней любви; при этом платоническая дружба, существовавшая между Аделью и мифическим «маркизом де Бьевром», не может удовлетворить женщину: она будет неизменно мечтать о человеке, который был бы другом и ее сердцу, и телу, и душе.

И Адель уже много мягче ответила Одару:

— Что же делать, Одар! Кто сам не делает никому добра, того и не поминают добром другие!

— «Добро»! «Зло»! — с горечью подхватил Одар. — Да знаете ли вы сами, что такое добро? Можете ли вы точно указать границу добра и зла? Вы скажете,

например, что убивать — зло, а спасти от гибели — добро. Так вот что я спрошу вас: если любимый вами человек будет таять в безнадежной чахотке, мучиться адскими страданиями, выплевывая по кускам источенные болезнью легкие, то не будет ли с вашей стороны высшим подвигом добра подсыпать ему в питье что-нибудь такое, от чего он тихо и безмятежно заснет навеки? И не будет ли, наоборот, проявлением высшей злобы, сильнейшей мести — не давать своему врагу покончить с собой, если жить ему станет невтерпёж?

— Вы берете крайности, — задумчиво ответила Адель. — Мне кажется, что добро и зло — что-то такое, чего не выразишь словами, но что должно чувствоваться сердцем....

— Хорошо, пусть вы правы! — подхватил Одар. — Но почему же я должен творить добро, если по отношению к себе я не вижу его? Разве вы выйдете к волкам с кроткими словами вместо оружия? Мир, люди — это та же стая волков, где каждый хочет сожрать друг друга. Я хотел стать кое-чем, а если бы я творил добро, я остался бы ничем... Добро! Ну, скажите вы сами: много ли добра видели вы в жизни? С самого раннего возраста вы стали лишь предметом хищных домогательств, красивым товаром, который стремился купить всякий... Ну да, вы сошлетесь на маркиза де Бьевра, который бескорыстно делал вам добро. А скажите-ка по чистой совести,

спасло ли добро маркиза вас от унижения, от позора, от обид? Выслушали ли вы от графа Орлова хоть на одну грубость меньше из-за того, что маркиз де Бьевр добр? Полно вам, милое дитя! Добрым может быть тот, кто родился богатым, знатным и сильным. Но богатые и знатные не хотят быть добрыми, ну, так и мы не можем быть ими. Однако между собой мы можем и должны быть ласковыми и добрыми, потому что мы, выбившиеся наверх из ничтожества, не можем иметь друзей ни в ком, кроме подобных нам. Вот поэтому-то я и пришел к вам. Я знаю, вас отталкивает мое уродство. Э, барышня, нельзя придавать так много значения внешней мишуре! Граф Орлов красив, но ведь это — просто кусок грубого мяса, которое Господь Бог забыл одухотворить. Зато, поверьте, мой ум скоро заставит вас примириться с моим физическим уродством. Вы увидите, каким верным, преданным другом я могу быть. И ведь я прошу очень немногого. Только ласки, только немножко сочувствия! Я ни в чем не буду стеснять вас, не буду ставить никаких требований. Я — философ и не стану ревновать вас к тем, кто будет для вас лишь неизбежной необходимостью! И поверьте, дорогая барышня, что, приблизив меня к себе, вы никогда не пожалеете об этом!

— Увидим, увидим, — ответила уже совсем смягчившаяся Адель, — а в ожидании далекого будущего давайте займемся ближайшим настоящим и

VIII

Как часто приходится слышать: «Что она (или он) в нем нашла?» Если бы отношения Адели и Одара были более на виду, наверное, этот вопрос не сходил бы с уст всего общества, потому что в каждом движении, в каждом взгляде, в каждой улыбке Адели сквозила глубокая привязанность к уроду Одару. На первых порах меня самого удивляло это непонятное влечение, но потом оно очень радовало меня, так как доказывало, что в душе Адели еще не заглохли добрые ростки, усиленно подавляемые и затаптываемые окружающими.

Ведь Адель относилась теперь к Одару совершенно бескорыстно. Вопрос о контракте не пошел далее голословных уверений Одара, и Адель даже не заговорила о нем. Денежных или ценных подарков Одар не делал, но малейший знак его внимания трогал и радовал девушку гораздо больше орловских бриллиантов. Словом, единственная корысть, которую имела от него Адель, заключалась в хорошо симулированной Одаром ласковой сердечности отношений. Одар так умел тронуть девушку разговорами об их общем одиночестве, так умел представить судьбу Адели в виде вопиющей социальной несправедливости;

он умело затрагивал нужные ему струны сердца Адели, заставляя их звенеть на определенный лад.

И мы все — прислуга, Роза, я — вздохнули теперь свободнее, так как характер Адели существенно изменился к лучшему. Она стала мягче в обращении, ласковее. Прекратились беспричинные бурные вспышки. На лице появилась трогательная, нежная улыбка, сообщавшая ему отсветы девичьей наивности, и когда Адель шла по комнате, то казалось, будто она несет в себе что-то переполненное до краев и боится расплескать это «что-то».

Свиданья происходили то у Адели, то у Одара, причем виделись они почти ежедневно и всегда много разговаривали. В этих разговорах Одар всегда старался навести девушку на ее отношения к Орлову, и Адель обыкновенно давала волю своим истинным чувствам к грубому, надменному временщику. И вот однажды такой разговор произошел между ними на квартире у Одара. Могу восстановить его в точности, потому что перед моими глазами лежит запечатлевший его документ.

— Отчего ты так грустен? — спросила Адель, — неужели всей моей нежности недостаточно для того, чтобы согнать с твоего лба эти противные морщинки?

— Твоя нежность может лишь углубить их, — ответил Одар, — ведь она еще острее заставляет меня чувствовать, что я теряю!

— Теряешь? Что за пустяки!

– Ну, конечно! Разве наши отношения могут долго продержаться? Что может заставить такую молодую, красивую женщину, как ты, возиться со мною, старым уродом? Особенно теперь! Единственный дар, который я мог преподнести тебе в благодарность за твою любовь, ускользает из моих рук...

– Ты говоришь о возобновлении моего контракта? Поверь, дорогой, что если контракт не будет возобновлен, то я буду печалиться лишь о необходимости уехать из России и расстаться с тобой!

– Ты очень добра, Адель, и доброта заставляет тебя говорить такие вещи, в которые ты сама не веришь!

– Как тебе не стыдно!

– Ах, ну надо же относиться к жизни сознательно и без иллюзий! Что могу значить для тебя я, когда около тебя стоит такой красавец, такой могущественный, богатый и щедрый человек, как Орлов!

– Не вспоминай о нем, не порти мне отрадных часов нашего свиданья! Как же можно сравнивать тебя и его? Ты говоришь, что он – красавец? Да ведь это – какая-то дикая куча дурацкого мяса! Фу, какая это грубая, вульгарная, глупая скотина!

– Ты увлекаешься, милая Адель! Конечно, вопрос о красоте очень спорен, потому что он зависит от вкусов, о которых, как известно, не спорят. Я лично нахожу, что граф Григорий – очень красивый мужчина... видный, сильный

рослыми, сильными...

— О, если ты прилагаешь к нему ту мерку, которая хороша для заводских жеребцов, то ты прав. Впрочем, в сущности говоря, он и есть животное....

— Ну да, я уже говорил, что это — дело вкуса. Но ты так непочтительно называешь его «глупой скотиной»! Помилосердствуй, Адель!.. Разве можно назвать так человека, который выбился из ничтожества лишь собственными талантами?

— Да с тобой можно просто от смеха лопнуть! Можно подумать, будто ты и сам не знаешь, какими именно «талантами» выбился наверх граф Григорий! Ум-то уж здесь был совсем ни при чем... Фу, какая срамота! Нас, бедных артисток, презирают за то, что мы вынуждены быть не слишком строгими в вопросах добродетели. Но ведь, во-первых, мы — слабые женщины, во-вторых — без этого мы в силу необходимости не можем отдаться искусству, которое для нас все же остается на первом плане. И нас еще презирают! Так как же не презирать сильного мужчину, открыто торгующего собой! Ты говоришь, что он богат и щедр? Подумаешь, какая заслуга! Из того, что он наторгует любовью сам, он небрежно выбрасывает некоторую часть за любовь, которую он покупает! Фу, гадина! Грязное насекомое, которое завелось в складках царственной горностаевой мантии!

— Осторожнее, Адель, ты в своей горячности

задеваешь более чем высокую особу, приблизившую к себе графа!

— Оставь, пожалуйста, я ничем не задеваю этой «высокой особы»! Она прежде всего человек, и ничто человеческое ей не чуждо. Мало ли что! В том, что человеку захочется плюнуть, нет ничего позорного, но быть плевательницей — малопочетная обязанность. Ха-ха-ха! Вот настоящее слово! Твой могущественный, красивый, умный и прочее, и прочее, и прочее граф Григорий Орлов — просто плевательница для пользования высокопоставленных особ!

— Однако! Я и не думал, что моя маленькая чаровница способна быть такой злой и ядовитой!

— Ах, я так ненавижу Орлова, так ненавижу! Каждый раз, когда он высокомерно и снисходительно целует меня, я с восторгом думаю: «Целуй, целуй! Ты за это хорошо платишь, а потом можно ведь и вымыться в семи водах!» Когда он с надменной небрежностью кидает мне крупную сумму денег или ценный подарок, я думаю: «Плати, милый друг!.. Ведь и за свой позор тоже надо платить! А благодаря твоей щедрости я знатно проведу время с милым дружкой». Когда же он гордо хвастается передо мной своим могуществом, я думаю: «Всего твоего могущества недостаточно, чтобы такое ничтожное существо, как я, не обманывало, не надругалось над тобой!»

— Да за что ты так ненавидишь его, маленькая

злючка?

— Потому что я — человек, а не собака, привыкшая лизать руку, бьющую ее. Орлов груб, дерзок, резок. Он держит себя со мной хозяином, потому что достаточно богат и могуществен, а мы, несчастные артистки, нуждаемся в покровительстве богатых, знатных людей. Меня привязывает к нему лишь необходимость, а он пользуется этим и злоупотребляет преимуществом своего положения. Чем же иным, как не ненавистью, могу я отплатить ему за это? А ведь я так легко могла бы полюбить его, привязаться к нему! Хоть бы немного ласки, немного теплоты, немного сочувствия встретила я с его стороны. Нет, с первого дня, с первого свидания, он с грубой прямоотой высказал, что таких падших созданий, как я, не любят, а их только «содержат». Он с первого момента подавил во мне всякое теплое чувство к нему. Что же могло у меня возникнуть к нему, кроме самой злобной ненависти? Женщина все может простить любимому человеку, но недостатки нелюбимого выступают в ее глазах еще рельефнее. И потому каждый раз, когда в моем присутствии называют это имя «граф Григорий Орлов», передо мной рисуется глупое, наглое, мясистое, бессовестное, бесчестное, грубое и нечистоплотное животное! Ты называешь себя уродом... Поверь, что в моих глазах по сравнению с Орловым ты — просто красавец. Я отдыхаю с тобой, Олан. и если бы не ты, мне было бы так трудно

Одар, и, хотя бы не ты, мне было бы так трудно переносить необходимость отвечать на надменные ласки Орлова!

– Глупенькая!.. Да что же ты имеешь от меня?

– Многое, Одар. Я имею именно то, чего мне недостает в жизни: немножко ласки, немножко тепла, немножко уважения и признания во мне человека...

– Ах ты, моя бедная крошечка! Однако что это такое? Часы бьют уже восемь? Боже мой, да ведь я совсем забыл, что государыня ждет меня в половине девятого! Я только-только успею одеться и принять приличный вид! До свиданья, дорогая моя, до скорого свиданья! Поцелуй меня еще раз... Как крепки и сладки твои поцелуи!

– Да ведь это не продажные! Ты ведь – не Орлов!

– Ах ты, моя маленькая Адель! Ну, до свиданья, до свиданья!

IX

Когда Адель ушла, Одар отдернул тяжелую занавеску, маскировавшую одну из дверей, которая оказалась раскрытой настежь, и вошел в маленькую соседнюю комнату, где около двери за столом сидело несколько человек. Один из них вносил какие-то спешные поправки в лежавшую перед ним рукопись.

– Ну-с, господа, – сказал Одар, коварно улыбаясь и

радостно потирая руки, — на этот раз мы оказались счастливее, и маленькая дурочка распоясалась, что называется, вовсю. Вы все успели записать, Ожье?

— Все, ваша милость, — почтительно ответил, привставая, молодой человек, возившийся с рукописью.

— А ну-ка, прочтите нам, что именно вы записали!

Ожье прочел свою рукопись, оказавшуюся точной стенографической записью всего разговора Адели с Одаром.

— Отлично! Великолепно! — воскликнул пьемонтец. — Теперь перепишите этот очаровательный диалог. Необходимо только внести кое-какие сокращения... — Одар указал, что именно надо выкинуть из разговора. — Ну, а теперь напишите заголовок. Пишите: «Правдивое изложение злоехидной критики, произведенной на берегах Невы приезжей вавилонской гетерой над прелестями некоего очень серого^[14] графа». Написали? Отлично. Теперь внизу пишите с новой строки и помельче: «Оный диалог записан скорописцем в присутствии...» Перечислите всех этих господ; только переделайте их фамилии в прозрачные псевдонимы.

— Например, меня назовите маркизом Страбик де Тенебр!^[15] — с громким хохотом сказал камергер Потемкин, хитро подмигивая единственным глазом.

— Отлично! — согласился Одар. — В этом же роде переделайте и других. Ну-с, дальше: «...в присутствии госпол таких-то. кои засвидетельствовать могут, что в

оним диалоге, между гетерой Лаисой и пьемонтским чертом происходящем, ни единого слова воображением не измышлено, не изменено и не приукрашено». Ну-с, теперь выпишите мне все это поаккуратнее и покрасивее, а мы, господа, тем временем немного выпьем и закусим. Да, господин Ожье! Не забудьте, что в диалоге надо везде заменять настоящие имена теми псевдонимами, которые приведены в заголовке.

— Его сиятельство графа Орлова именовать «серым графом», а девицу Гюс — «гетерой Лаисой»? — спросил Ожье.

— Вот именно! И поторопитесь, Ожье, я хочу сегодня же представить эту рукопись ее величеству. Ну-с, господа, пойдемте!

Через полчаса Ожье принес в столовую готовую рукопись. Одар тщательно просмотрел ее, аккуратно сложил и отправился во дворец к государыне.

Екатерина тотчас же приняла его. Она сидела в своем рабочем кабинете, разбираясь в бумагах, где были записаны отрывочные мысли, касавшиеся управления государством. Впоследствии из этих отрывочных мыслей составил знаменитый «Наказ».

— Должно быть, вы с хорошими вестями, Одар, — очаровательно улыбаясь, сказала императрица. — По крайней мере, в ваших глазах светится торжество! Ну, в чем дело?

Получившая рукопись императрица сказала:

— приказание вашего величества исполнено, — ответил пьемонтец, подавая Екатерине рукопись, — и мой план удался в точности.

Екатерина принялась читать «диалог между гетерой Лаисой и пьемонтским чертом». Во время чтения ее глаза не раз вспыхивали ироническим огоньком. Дочитав до конца, она весело рассмеялась, но внезапно ее веселость потухла и на лице отразилась печаль.

— Знаете, Одар, — сказала императрица, — мне даже жаль девушку! Судя по этому разговору, она гораздо лучше, чем я думала, и очень несчастна. Бедняжка! Как изломала жизнь эту натуру, в которой очень много хороших качеств!.. Гюс очень неглупа, ей нельзя отказать в меткости суждений... А какая тоска по чистым радостям чувствуется в каждом слове! Как жаль, что она должна стать жертвой высших политических соображений!

— Но, ваше величество, — заметил Одар, — девчонка все равно играет в опасную игру, и гораздо лучше, если гнев «очень серого графа» обрушится на нее в таком деле, где заступничество вашего величества не даст графу чересчур жестоко расправиться с язвительной «Лаисой». Но что было бы, если бы граф лично застал ее с одним из своих соперников!

— Вы ничего не понимаете, Одар, — резко ответила императрица. — Я сожалею вовсе не о том, что Гюс придется вынести неприятную сцену с графом. Мне

жаль, что она с таким доверием отнеслась к вам и должна будет раскаяться в своем доверии. Вы не можете себе представить, как губительно действуют на женскую душу подобные случаи! Бедняжка! Чем она виновата, что на ее жизненном пути встречаются или смешные чудаки, вроде маркиза де Бьевра, или... заведомые негодяи...

— Ну, ваше величество, — возразил Одар с саркастической улыбкой, — в таких делах вопрос о виновности или невиновности разрешается совершенно иначе. Благоволите вспомнить басню Лафонтена о том, как волк присудил ягненка к смертной казни. Когда же ягненок наивно спросил, чем он виноват, волк ответил перечислением разных слабых вин и в заключение прибавил: «А главная твоя вина заключается в том, что я чувствую большой голод!» Что же делать, ваше величество? Волк не виноват, что его натура не приспособлена для питания листиками и травой и что он должен время от времени есть... Там, где налицо необходимость, тут уже не разбирают виновности, не справляются о правах. Одна только сила является здесь решающей! Зато, если отбросить вопрос о сожалении и тому подобных слабостях доброго сердца, представьте себе, ваше величество, какой эффект произведет этот диалог! Представьте себе только, государыня, выражение лица сиятельного графа, который уверен в полном неведении вашего величества о его шалостях,

как уверен в своей непобедимости... О, ваше величество! Вы хотели дать графу хороший урок; что может быть лучше этого?

— Вы правы, — смеясь ответила Екатерина. — Маленькая комедия, которую мы разыграем завтра же, послужит графу отличным уроком и научит его быть на будущее время осторожнее! Благодарю вас, Одар, вы отлично исполнили порученное вам дело! Пошлите ко мне дежурного камергера. Я прикажу созвать на завтрашний утренний малый прием кое-кого.

На следующий день в кабинете у императрицы во время малого приема Одар полез в карман за платком и вместе с последним вытащил какую-то плотную рукопись, которая с шумом упала на пол. Одар кинулся с испугом поднимать ее, но государыня заметила его движение и с улыбкой сказала:

— А ну-ка, покажите, что это вы хотите спрятать с таким старанием!

— Но, ваше величество, это ничего... это — просто шутка...

— Давайте, давайте! Я люблю шутки! — Екатерина взяла у Одара рукопись, взглянула и сказала: — Ого! Однако, судя по заглавию, это должно быть чрезвычайно интересно! Слушайте, господа: «Правдивое изложение злоехидной критики, произведенной на берегах Невы приезжей вавилонской гетерой над престонами некоего оного «серого графа». Оный шалоп

прелестями некоего очень «серого графа». Оный диалог записан скорописцем в присутствии маркиза Страбик де Тенебр, герцога Брянчанини и князя Поповио, кои засвидетельствовать могут, что в оном диалоге, между гетерой Лаисой и пьемонтским чертом происходящем, ни единого слова воображением не измышлено, не изменено и не приукрашено». Не правда ли, как это заманчиво? Ну-с, посмотрим, что там дальше!

Все недоуменно переглянулись, а Орлов заметно побледнел. Он видел, что вся эта сцена была подстроена, что Одар неспроста выронил из кармана рукопись и что государыня неспроста затеяла чтение вслух вычурного диалога, действующих лиц которого было так просто узнать под нехитрыми псевдонимами. Значит, Адель обманывала его с Одаром и, обманывая, смеялась над ним? Значит, государыня знала об этом и на этом строила свой план мести? Но что же будет далее? Ограничится ли государыня этим публичным издевательством или его постигнет полная немилость?

— Ого! — воскликнула в этот момент государыня. — Вы только послушайте, господа, как она характеризует «очень серого графа», своего ежечасно обманываемого покровителя. Нечего сказать, злой язык у вашей Лаисы, Одар! Вы только послушайте: «Серый граф» — это какая-то дикая куча дурацкого мяса. Фу, какая это грубая, вульгарная, глупая скотина!» А дальше еще лучше: «Когда в моем присутствии называют имя «серого

графа», мне рисуется глупое, наглое, мясистое, бессовестное, бесчестное, грубое и нечистоплотное животное! Ты называешь себя уродом, мой пьемонтский черт! Поверь, что в моих глазах по сравнению с «серым графом» ты – просто красавец!» Нечего сказать, не пожелала бы я быть в коже «очень серого», но это – ему хороший урок. Уж очень вы, мужчины, неразборчивы. Свежий воздух высот слишком чист для вас, и вы ищете всякой возможности хоть украдкой побывать внизу. Ну а внизу болота, внизу грязь... Впрочем, будем надеяться, что этот диалог – просто литературное произведение острого пера, а если это даже и не так, сделаем вид, будто верим в измышленность диалога. Но как литературное произведение, этот диалог сделан очень хорошо. Граф Григорий, я знаю, вы – любитель изящной словесности: вот возьмите, почитайте его на досуге!

Государыня протянула Орлову рукопись и вскоре милостиво отпустила собравшихся. Орлов бросился прямо в свои генерал-адъютантские покои, прочитал рукопись, потом, сунув ее в карман, велел подать стоявшую наготове под седлом лошадь и помчался сначала к Одару, а от него к Адели.

X

Мы с Аделью сидели за приходно-расходными книгами, подсчитывая, какие свободные суммы должны

были находиться сейчас в распоряжении старухи Гюс, как вдруг в комнату ворвался взбешенный Григорий Орлов.

— Так вот как! — заревел он, наступая на Адель. — Вот как, сударыня! Вы подло обманываете меня да еще и издеваетесь надо мной! Вы — гнусная, бесчестная развратница!

— Но я ничего не понимаю, граф! — крикнула перепуганная, но притворившаяся оскорбленной Адель.

Орлов швырнул ей в лицо рукопись и крикнул:

— Вот это объяснит тебе все, негодяйка, а вот это я оставлю тебе на память о «плевательнице для высокопоставленных особ».

С этими словами Орлов размахнулся и сильно ударил Адель хлыстом, который оставил багровую борозду, шедшую через все ее лицо от левого уха к правой стороне шеи. Он хотел еще раз ударить девушку, но я подскочил к нему и, быстрым движением выхватив у него из рук хлыст, спокойно сказал:

— Я не позволю вам бить беззащитную женщину, граф!

Орлов захрипел от бешенства и, сжав кулаки, готов был броситься на меня. Но я сделал шаг в сторону и достал из кармана пистолет. Прошло несколько минут в томительном, жутком молчании. Вдруг Адель слабо вскрикнула. Я искоса взглянул на нее и увидел, что она читает рукопись, брошенную ей Орловым.

читает рукопись, сброшенную ей Орловым.

Этот крик вывел графа из состояния бешеной неподвижности.

— Маркиз, — хрипя и задыхаясь, сказал он, обращаясь ко мне, — вы — благородный человек и не знаете, кого защищаете! Ведомо ли вам, что эта негодная тварь обманывала меня направо и налево с каждым встречным? Ведомо ли вам, что, обманывая меня, она в то же время смеялась надо мной со своими любовниками?

Ведомо ли вам наконец, что не далее как вчера она, в объятьях своего любовника Одара, обливала меня помоями, не зная, конечно, что за занавеской сидят люди, которые подслушивают и записывают каждое слово! И подумайте только, маркиз: всего за два часа до этого она ластилась ко мне, чтобы выпросить у меня новую подачку! Что же, может быть, и теперь вы будете защищать ее?

— Граф! — грустно ответил я, — я не закрываю глаз на творящееся зло и не оправдываю поведения девицы Гюс. Но я и не судья ей. И не потому защищаю я ее, что считаю ее правой перед вами, а потому, что она беззащитна против вашей ярости. Подумайте сами, граф, как бы виновата ни была женщина, разве смеет такой гигант, как вы, употреблять против нее физическую силу?

— Хороша «беззащитная женщина»! — с новым

приливом ярости крикнул Орлов. — Да знаете ли вы, что я со всей своей физической силой и государственным могуществом не мог бы причинить столько зла, сколько причинила его мне эта распутница! Ведь вы не знаете еще самого главного: Одар подстроил эту ловушку по приказанию государыни, которая сегодня публично насмеялась надо мной! Я, граф Григорий Орлов, стал посмешищем двора! И за что? За то, что я осыпал деньгами и подарками лживое, порочное создание! И вы еще находите, что удар хлыстом по лицу — слишком сильное, слишком жестокое наказание? Да ведь таких негодниц надо бить кнутами на площади! Их следует отдавать на всенародное позорище!

— Еще раз повторяю вам, граф, что я — не судья, а только защитник девицы Гюс, — ответил я. — Скажу еще, что не верю в спасительность физического наказания. Мне кажется, что каждый дурной поступок уже носит в лоне своем наказание себе. Так и здесь: если девица Гюс согрешила против вас, то она жестоко наказана. Ведь она верила Одару, она искренне отдыхала с ним душой, и, если она, как вы говорите, и ругала вас в его присутствии, то это, наверное, явилось следствием не ненависти к вам, а любви к Одару. В устах женщины это — как бы извинение перед любимым в необходимости поддерживать связь с нелюбимым. А теперь она видит, что сама стала жертвой недостойной ловушки, что она сама сыграла глупую, позорную роль в руках хитрого,

беспринципного пьемонтца... Взгляните на нее, граф, и скажите сами: нужно ли еще какое-нибудь наказание?

Орлов обернулся к Адели и несколько секунд смотрел на нее. Вся ее фигура была сплошным олицетворением безнадежности: руки беспомощно повисли, тусклый взгляд безжизненных глаз смотрел не видя, и красный рубец еще страшнее подчеркивал смертельную бледность лица.

Что-то дрогнуло в уголках надменного рта фаворита.

— Быть может, вы и правы, маркиз, — глухо сказал он. — Да, хлыст — слишком слабое орудие наказания в таких случаях, и я искренне благодарен вам, что вы не дали мне расправиться с этой тварью. Но теперь вы, может быть, все-таки вернете мне хлыст? — со слабой улыбкой прибавил он. — Во мне все еще кипит злоба, и я развею ее дикой скачкой!

Я с почтительным поклоном подал Орлову хлыст, он взял его и нервной походкой направился к двери. В этот момент навстречу ему показалась жирная, приземистая фигура Розы. Она находилась в состоянии блаженного подпития и, как всегда в таких случаях, была крайне липка и слащава.

— Ваше сиятельство! — с выражением безграничного восхищения вскрикнула она, приседая неуклюже церемонным книксеном в дверях и загораживая дорогу Орлову. — Позвольте мне, вашей слуге и

Срочно. Косовские мисс, Вернен. Сидит и почитательнице вашего сиятельства...

— Прочь, старая сводня! — гаркнул фаворит, отбрасывая старуху пинком ноги в сторону и бурно устремляясь в двери.

Роза отлетела на несколько шагов и с размаха плюхнулась в кресло. Испуганным, ничего не понимающим взглядом она оглянулась по сторонам.

— Да что у вас произошло здесь, голубчик месье Гаспар? — жалобно спросила она. — Адель! — в ужасе крикнула она. — Что у тебя на лице? Боже мой, что здесь случилось?

От ее крика Адель словно проснулась. Она встала и безучастно посмотрела в зеркало; но тотчас же ее лицо вспыхнуло, а взор загорелся дикой яростью. Словно взбешенная пантера, одним прыжком она очутилась около матери и, наступая на нее со сжатыми кулаками, закричала:

— Это все ты, все ты, проклятая! Из-за твоей проклятой жадности я подверглась этому позору! О, я убью тебя! Ты — не мать, ты мне — злейший враг! Проклятая, проклятая!

Роза испуганно вскочила с кресла и вдруг тяжело рухнула обратно. Ее лицо приняло багрово-синеватый оттенок, глаза закатились, на губах показалась пена. Она силилась что-то сказать, но полувысунутый, прикушенный стиснутыми зубами, распухший язык не

повиновался, а руки и ноги лишь вздрагивали, словно оторванные лапы паука-косаря. Ее вид внушал ужас и отвращение.

Я крикнул слуг, приказал им осторожно поднять старуху и перенести в ее комнату, а одного послал за доктором. Когда слуги подняли Розу на руки, Адель, с хмурой бесчувственностью стоявшая в стороне, подошла ко мне и сказала:

– Оставь ее, Гаспар! Пойдем, мне нужно продиктовать тебе письмо!

– Адель! Ведь это – твоя мать! Ведь она умирает! – сказал я ей.

– Да благословит тебя Бог, Гаспар, если ты говоришь правду, – ответила Адель. – Но умирает ли она или нет, все равно ты не доктор и ничем не можешь помочь ей. А мне ты нужен. Пойдем!

Адель увела меня к письменному столу и продиктовала мне там следующее письмо к Одару:

«Одар! Я не буду говорить Вам о том, насколько дурен Ваш поступок со мной: все равно познание добра и зла неведомо Вам. Но неужели Ваше сердце чуждо всяких человеческих движений? Неужели Вы не понимаете, что такую сильную привязанность, которая родилась к Вам в таком заброшенном, одичалом сердце, как мое, нельзя затапывать в грязь, как это сделали Вы?

А ведь я действительно была привязана к Вам, Одар, так привязана, что до любви оставался один

крошечный шаг, так привязана, что даже теперь не вижу в своем сердце ни малейшей злобы против Вас... Да и нет в нем места злобе: оно все полно тоской и болью по обманутой, поруганной мечте... О, тот, другой, пусть поостережется! С ним у меня еще будут счеты! Но с Вами... Отныне Вы умерли для меня, Одар!

Но скажите по чистой совести, поройтесь в своем сердце, спросите самого себя: неужели ровно ничто не шевелится в Вас при мысли о том, что я навсегда потеряна для Вас? Неужели я была для Вас лишь орудием наказания провинившегося фаворита оскорбленной монархиней, только орудием и больше ничем? Ничем для Вас лично? Нет, не верю, не могу верить этому! Ведь Вы действительно одиноки, Одар, и одиночество действительно тяготит Вас. Вам было легко со мной, и Вы еще почувствуете горечь утраты существа, которое могло любить Вас так, как никто никогда не любил и не будет любить!

Наверное, Вы уже спрашиваете себя: зачем я пишу Вам все это? Я пишу Вам для того, чтобы открыть Вам глаза на Вашу собственную непредусмотрительность. Ведь Вам вовсе не надо было так оскорблять меня, чтобы привести в исполнение предписанное Вам государыней дело. Ведь я была так привязана к Вам, что, скажи Вы мне откровенно все, как было, и я сама помогла бы Вам поставить графа Григория в смешное положение. Подумайте только, Одар: Вы добились бы

своего, отличились бы в глазах государыни и сохранили бы меня! О, я знаю, Вы чувствуете, что я говорю это совершенно искренне, что это действительно было бы так... Но Вам не пришло в голову пойти этим прямым, благородным путем, и результаты налицо!

О, я знаю, Вы далеко не равнодушно отнесетесь к этой упущенной возможности. И в этом-то цель моего письма, в этом та единственная маленькая месть, которой я отвечаю на Ваш недостойный поступок. Пусть нет-нет да встанет перед Вами мой образ, пусть иной раз перед Вами воскреснут часы прошлого счастья! И пусть при этом Вы подумаете: «В моей власти было удержать это счастье, но я не сумел сделать это. Теперь все кончено!..»

Да, теперь все кончено, Одар! Вы умерли для меня, Вы для меня не существуете. Не пытайтесь объясниться со мной – я не приму Вас, если Вы придете, и не отвечу на Ваше письмо; я даже не стану читать его, если Вы вздумаете писать мне. Прощайте, Одар! Прощай, труп некогда любимого человека!»

Адель перечитала письмо, подписала его, запечатала и тотчас же отправила с нарочным.

Сразу же вслед за этим в комнату вошел врач.

– Сударыня, – сказал он, – считаю нужным заявить вам, что положение вашей матушки совершенно безнадежно. Едва ли она переживет завтрашнее утро...

Вы уверены в этом, доктор? – переопределенно

— Вы уверены в этом, доктор? — взволнованно спросила Адель.

— К сожалению, тут не может быть никаких сомнений, — ответил врач. — От старости и... не особенно правильного образа жизни стенки сосудов у вашей матушки потеряли свою эластичность. В силу неизвестных мне причин — вероятно, от какого-нибудь сильного душевного волнения — кровь сразу прилила к мозгу, сосуды не выдержали бурного прилива, и кровь излилась в мозг. При таких обстоятельствах спасения не бывает — весь вопрос лишь в сроке...

— Слава Тебе, Господи! — со страстным волнением вскрикнула Адель, к величайшему удивлению, почти ужасу врача, который поспешил откланяться. — «Ныне отпускаеши»... Теперь я свободна, теперь уже никто не помещает мне отомстить за сегодняшний позор!

Действительно Роза не пережила следующего утра: она скончалась ночью, не приходя в сознание.

А на другое утро Адель получила пакет, в котором был возобновленный контракт. Жалованье Адели оказалось не удвоенным, как она хотела, а утроенным: восторжествовавшая царственная соперница хотела хоть этим вознаградить посрамленную.

XI

Розу Гюс похоронили очень тихо и незаметно. Из

посторонних проводить покойницу пришли только Фельген и Суврэ, не считая депутата от труппы, явившегося выразить Адели сочувствие от имени товарищей. Вообще ничто не напоминало в настроении участников процессии о похоронах. Да это и понятно: некому было искренне сказать о покойнице хоть одно доброе слово, и не было причин и оснований лицемерить с восхвалением добродетелей почившей.

Да и не до того было: нам предстояло решить несколько сложных вопросов: как жить и что предпринять в ближайшем будущем?

На первом плане стоял вопрос о квартире, и о нем-то надо было позаботиться как можно скорее. Правда, дом, в котором мы жили, был подарен Адели Орловым, а последний был слишком горд, чтобы взять обратно свой подарок. Но все дело заключалось в том, что дарственная не была оформлена, и таким образом по документам дом все же принадлежал фавориту, а Адель не желала оставаться в неопределенном положении полузависимости. Если бы не смерть матери, она уже на другой день съехала бы куда-нибудь, хоть в гостиницу. Теперь, раз уже прожили здесь два дня, не к чему было чересчур спешить. Однако уезжать из дома все же было надо. Но куда? Это было не так-то легко решить!

Адель непременно хотела снять небольшой особнячок в тихом месте, но неподалеку от Летнего сада, близ которого помещался театр, где играла французская

труппа. В заречных частях города можно было найти нечто подходящее, но там было неудобно жить из-за плохого сообщения по реке, а поблизости мы ничего не могли подыскать. У нас была одна надежда на Фельтена, который отлично знал город и мог дать хороший совет. С этой целью Адель даже увезла его с кладбища к себе домой обедать. Она хотела позвать также и Суврэ, но маркиз с ледяной чопорностью отклонил ее приглашение и сделал это так, что Адель даже вспыхнула от обиды. Впрочем, Суврэ и со мной был теперь только вежлив. Отчасти я понимал его. Если он и явился отдать последний долг соотечественнице, дом которой он изредка посещал, то отнюдь не был расположен продолжать бывать в доме после всей той грязи, которая внезапно всплыла около имени «Гюс». Сын своего века и общества, Суврэ мог мириться с чем угодно, если только дело не доходило до публичной огласки, до открытого скандала. В планы Екатерины всецело входило как можно шире огласить сцену, происшедшую между Гюс и Орловым, так как оглаской только и достигалось смешное положение Орлова и посрамление Адели. Эта огласка была сделана, о «деле Гюс» говорило все петербургское общество, приплетая к былям самые страшные небылицы. Следовательно, налицо был такой скандал, что можно было скомпрометировать себя, поддерживая хорошие отношения с Аделью. К тому же, несмотря на густую

отношения с Аделью. К тому же, несмотря на густую вуаль, несмотря на толстый слой притирания, синевато-багровый рубец от левого уха до правой щеки слишком громко напоминал о том, что Адель весьма недавно били, как провинившуюся собаку. А в глазах даже такого умного, просвещенного человека, как Суврэ, этот рубец облекал Адель несравненно большим позором, чем длиннейший ряд поступков, наиболее противных нравственности и честности. Вот это-то и заставило маркиза так надменно отказаться от приглашения.

Я остановился на его чувствах так подробно потому, что они были характерны и для всего высшего петербургского общества: в первое время после всего этого скандала Адели даже и хлопали далеко не по-прежнему, и самые удачные монологи зачастую кончались почти без аплодисментов публики!

Вообще положение Адели в качестве самой модной львицы было сразу повержено во прах. Когда она показывалась на улице, то мужчины больше не кланялись ей наперегонки, а женщины не бросали на нее завистливо-восхищенных взглядов. И когда Адель делала в магазинах какие-либо заказы, то с нее довольно бесцеремонно старались получить деньги вперед. Ведь все отлично знали, что за спиной артистки не стоит теперь щедрый Орлов, готовый разбрасывать деньги, не считая, как знали и то, что Орлова не заменил пока никто. А что такое кредитоспособность артистки, какое

бы большое жалованье она ни получала? Ведь одни театральные туалеты могли съесть три четверти крупнейшего оклада!

Но вопрос о том, как мы теперь будем жить, был тоже не из последних в серии наших забот. Адель была так надломлена нравственно, что и слышать не хотела о прежнем беспутстве с вечно сменявшимися «гастролерами». Она твердо решила отойти от веселящегося, кутящего общества и не сдаваться ни на какие посулы. Впрочем, и сами «гастролеры» теперь отшатнулись. Они понимали, что незанятая женщина будет искать прежде всего серьезного поклонника, а никто из бывших «дольщиков» Орлова не мог предложить Адели что-нибудь подобное, безудержной щедрости фаворита. Но помимо финансовых соображений были соображения и политического свойства. Ведь теперь речь шла уже не о том, чтобы наставить рога Орлову; приходилось как бы бросать открытый вызов и ему, и государыне. Все же знали, что государыня подстроила так, что Орлов избил и оттолкнул актрису Гюс; значит, тот, кто открыто сблизится с этой актрисой Гюс, как бы пойдет против и государыни, и Орлова. Не так хорошо обстояло в России с гражданской свободой, чтобы рискнуть быть независимым даже в строго интимных делах. Так мудро ли, что от Адели — особенно на первых порах — сразу отхлынул весь рой поклонников.

Только один Фельтен и оставался ее верным рыцарем. Кстати сказать, он не обманул наших ожиданий и проявил такое знание Петербурга, что с его помощью уже на следующий день подходящий дом был найден. Это был небольшой особнячок в самом конце Фуршгадтской, где уже начинали тянуться пустыри. Здесь было очень тихо, и в то же время езды до театра было всего минут десять. Дом был одноэтажный, но с антресолями и терраской, выходившей в довольно большой, запущенный сад. Не считая людских и служб, в доме было всего пять комнат, но больше нам и не требовалось.

Таким образом помещение было найдено, и мы стали хлопотать о переезде. Из старой квартиры Адель не взяла ничего — вся обстановка для дома на Фуршгадтской была куплена заново. Точно так же ни один человек из орловской прислуги не остался на службе: новый скромный штат был набран при помощи Фельтена из людей, честность и порядочность которых были подвергнуты тщательному контролю и проверке.

Теперь оставалось еще окончательно установить, какой суммой располагаем мы для жизни. Как помнит читатель, старуха Гюс забрала всю кассу в свои руки. Хотя приход и расход и записывались мною в книгу, но в последнее время покойница сообщала мне заведомо ложные цифры, и по книгам выходило так, что наличных денег у Адель почти не было, а если и было

наши деньги у Адель по ним не было, а если и было некоторое состояние, то в виде нереализованных ценностей. Значит, надо было обратить в деньги все те ненужные золотые и серебряные вещи, которых было довольно много, а кроме того узнать, куда прятала свои деньги Роза. Хотя многого и не удалось найти, но все же кое-что отыскивалось. Под кучей грязного белья обнаружился чулок с червонцами; по некоторым данным можно было выяснить, что Роза положила в банковскую контору некоторую сумму на хранение. Билета, удостоверяющего прием на хранение денег, так и не нашли: вероятно, он был зашит покойницей в какую-нибудь тряпку, которую выбросили или сожгли при переезде. Тем не менее впоследствии эти деньги были выданы Адели по личному распоряжению государыни, желавшей быть великодушной до конца.

Во всяком случае первоначальный учет наших средств показал, что после погашения расходов по переезду и устройству рассчитывать не на что и надо довольствоваться одним жалованьем Адели. Впрочем, в той тихой жизни, которой зажили теперь мы, жалованья было вполне достаточно.

А жизнь у нас пошла действительно тихая. Адель бывала только в театре, ни с кем не поддерживала отношений и никого не принимала у себя. Исключение делалось для одного Фельтена, который стал у нас постоянным гостем. Я с удивлением заметил, что Адель

сознательно и расчетливо кружит ему голову. Зачем ей это было нужно? Ведь она решительно порвала с прошлым и сурово отвергла притязания некоего петиметра^[16], разлетевшегося к ней в театральную уборную. А ведь этот петиметр был очень богат, тогда как у Фельтена не было ничего!

Впрочем, загадочность поведения Адели вскоре стала мне понятна.

Однажды в сумерках я незаметно вошел в гостиную и попал на трогательную сцену: белокурый, розовый барон Фельтен плакал как ребенок, уткнувшись лицом в колени Адели, которые он обнимал, шепча между всхлипываниями слова нежности и страсти.

Я бесшумно повернулся и скрылся незамеченным, но, уходя, слышал ответ Адели Фельтену. Она сказала:

— Милый барон, я очень люблю вас, но далеко не так, как бы вы желали. Да ведь я и не могу любить теперь иначе кого бы то ни было! Меня оскорбили, надо мной надругались, мое сердце стонет от неотомщенной обиды, и только тот, кто поможет мне отомстить обидчику, может рассчитывать на мою полную любовь! О, всю себя я отдам тому, кто поможет мне в этом, всю себя! Разве это — плохая награда, Фельтен?

— Я жизнь готов отдать за нее! — воскликнул Фельтен. — Располагайте мной, как хотите!.. Я весь ваш!

— Ну, так встаньте с колен, барон, — ответила Адель, — и давайте поговорим. Успокойтесь, станьте

мужчиной! Мне нужна помощь не влюбленного мальчика, а зрелого мужа! И помните одно, Фельтен: я не хочу слышать ни одного слова любви от вас до тех пор, пока мое сердце не будет успокоено наказанием моего врага!

С тех пор Фельтен стал бывать еще чаще, и его разговоры с Аделью стали еще дольше и таинственнее. Впрочем, посещения барона оставались тайной для всего общества, так как Фельтен жил близко от нас, эта часть Фуршгадтской была очень глухой, да и Адель уже не привлекала так к себе внимание петербуржцев, поэтому присматриваться, кто и как часто у нее бывает, было некому.

Так и жили мы, и наша жизнь лишь в редких случаях прерывалась какими-нибудь событиями. Опять наступила суровая зима; вокруг дома намело целые сугробы снега, и это еще более располагало к желанию посидеть, почитать или помечтать у камина. А вместе со снегом зимы, засыпавшим грязь и лужи после хмурой, сырой осени, непрестанно шел и снег времени, покрывавший прошлое пеленой забвения. Рубец на лице Адели зажил и окончательно изгладился. Злословье, свирепствовавшее вокруг ее имени в первое время, погасло само собой за недостатком пищи, так как строгий, замкнутый образ жизни Адели не давал материала для дальнейших пересудов, а толковать все об одном и том же было скучно. Да и жизнь петербургского

одном и том же было скучно, да и жизнь петербургского двора была настолько богата постоянными скандалами, что на каком-нибудь одном из них не было возможности останавливаться. Одновременно с этим проходила также и холодность зрителей, и публика стала принимать Адель все теплее и теплее. Конечно, теперь ее успех был далеко не таким, как прежде, когда в театр съезжалось самое блестящее общество специально для того, чтобы устроить овацию артистке вне зависимости от удачного исполнения. Но зато уже никто не мог сказать, что Адель и на сцене выезжает не драматическим талантом, а женской распушенностью. Нет, даже товарищи по сцене, прежде завистливо косившиеся на Адель, открыто признавали ее громадный талант, который в последнее время еще развился, окреп и обогатился новыми мощными струнами гнева, ненависти и страсти. В последних числах января ее ждал оглушительный триумф, которым она была обязана исключительно своему таланту, а никак не «побочным обстоятельствам».

Шла великолепная трагедия Вольтера «Меропа» — это дивное воплощение в звучных, красивых стихах всей глубины материнской любви. Адель играла королеву Меропу, которая почти не сходит со сцены на протяжении всех пяти актов. Роль Меропы трудна уже тем, что в ней артистка почти не имеет отдыха, так как с начала до конца королеву бушуют сильные чувства, и

исполнительнице крайне тяжело все время вести роль в ярких, страстных тонах. Чисто лирических мест в роли Меропы совсем нет. Она или страстно скорбит о потерянном сыне, или выражает глубокую ненависть к тирану Полифону, или приходит в бешенство при известии о мнимом убийстве своего сына Эгиста. И даже ее радость при неожиданном обретении Эгиста трагична, так как жизни сына грозит почти неминуемая опасность. А всякий, кто хоть немного знаком с театром, должен понять, как это невероятно трудно – провести подобную роль с непрерывным подъемом, ни разу не срываясь, не впадая в напыщенность и не теряя заданного ритма.

К волнению перед трудностями предстоящей роли для Адели прибавилось еще новое волнение при известии, что представление почтит своим присутствием государыня. Екатерина очень любила «Меропу» и отводила этой трагедии чуть ли не первое место в ряду драматических произведений Вольтера. Быть может, это происходило потому, что в «Меропе» очень красиво трактуется вопрос о материнской любви, а сама Екатерина никакими материнскими чувствами не отличалась: противоположность притягивает. Но помимо того, что государыня любила саму пьесу, она, по всем признакам, хотела окончательно изгладить последние следы осеннего скандала. Ведь в этом скандале участвовала не артистка Гюс, а распущенная

женщина. Кроме того, это было семейное дело между Орловым и Аделью, и государыня хотела показать, что ее вся эта история совершенно не касается. Действительно вскоре после поднятия занавеса в ложе показалась величественная фигура «Семирамиды севера»; государыню сопровождали оба брата Орловы и статс-дама, графиня Брюс.

Я понимал, как должна была волноваться Адель, и очень боялся за нее. Мой страх еще усилился, когда я увидел, что с самого начала Адель ведет свою роль вовсе не так, как прежде. Ее короткие реплики Исмении были произнесены унылым, бесконечно скорбным, упавшим голосом.

«Неужели волнение лишило ее привычной силы?» — с ужасом думал я.

Но монолог в конце первого явления успокоил меня: я понял, что Адель просто бережет силы, а это она обыкновенно делала тогда, когда бывала в особенном ударе или когда по каким-либо особым обстоятельствам ей нужно было произвести чрезвычайное впечатление. И действительно, страстность ее исполнения все росла и росла. Описание тех страшных моментов, когда бунтовщики разграбили дворец и убили мужа и детей Меропы (кроме Эгиста, которого она успела спрятать), вызвало у большинства зрителей нервную дрожь; от гордого, страстного отпора, данного королевой претенденту на ее руку убийце мужа и детей.

президента, на ее руку, уходящую рука и детей, Полифонт, по залу пробежал сдержанный гул одобрения, а когда Меропа ушла, зрители не захотели слушать заключительный диалог Полифонта с Эроксом и разразились бурными аплодисментами, хотя этикет требовал, чтобы знак к аплодисментам подавала государыня. Но Екатерина была, видимо, очень довольна и сама хлопала, не отставая от публики, что еще более усилило аплодисменты. И далее успех Адели рос с каждым явлением, с каждым актом. Когда во втором акте Меропе сообщили, что ее сын Эгист убит злодейской рукой, Адель издала такой страстный вопль, что вся публика замерла, и я видел, как Екатерина побледнела и невольно схватила рукой за сердце. После третьего акта Адель позвали в царскую ложу, и государыня очень милостиво беседовала с нею несколько минут. Между прочим Екатерина спросила Адель, здоров ли я, и, когда узнала, что я в театре, пожелала видеть и меня. Она ласково пожурела меня за то, что я совершенно перестал бывать на эрмитажных собраниях, и взяла слово, что больше я уже не буду пренебрегать ими.

— Между прочим, — сказала она, — знаете ли вы, что я строю теперь специальное здание для наших дружественных собраний? Смотрите, не пренебрегайте нами теперь, а то впоследствии, когда мы заживем побогаче, уж мы пренебрежем вами!

Сказав это, она вышла, и я остался один.

Словом, прошлое было окончательно забыто, по крайней мере, по внешнему виду, и Адель с полным безразличием перекинулась даже несколькими незначительными фразами с Григорием Орловым. Быть может, Екатерина и Орлов вполне искренне не чувствовали никакой неприязни к Адели, но она сама ничего не забыла, и под корой внешнего равнодушия в ней тлел неугасаемый огонек мстительной злобы.

Кстати, очень интересно отметить здесь одно маленькое событие, которое произошло в связи с представлением «Меропы» и этой встречи с фаворитом государыни.

Самолюбие Орлова было больно задето тем, что Адель уехала из подаренного им дома, не взяв оттуда ни одной вещички и послав дворецкого сказать, что «дом очищен». Для графа это выглядело так, будто Адель была способна заподозрить, что теперь он воспользуется отсутствием формальной дарственной и отберет назад свой подарок. Ну, а оба Орловы в щедрости были действительно настоящими барами, и на такой поступок граф Григорий не был способен. И теперь, когда вся эта история забылась, когда он увидел, что его положение нисколько не пошатнулось и Екатерина лишь отделалась шутливым уроком, он уже не мог питать такую острую злобу к Адели, как в первые минуты. Ему захотелось щегольнуть своим барским великодушием. На следующем спектакле Адели поднесли корзину цветов, в

которой лежал пакет с дарственной на дом и очень любезным письмом Орлова. Он написал, что возвращает Адели лишь ее собственность, но что если даже она способна увидеть в этом дар, то такой большой, глубокий талант, каким обладает она, заслуживает и пр., и пр., и пр.

Адель на следующее же утро продиктовала мне письмо к Орлову и отправила ему его вместе с дарственной. Письмо было безукоризненно вежливо и бесконечно холодно. Адель написала, что не считает возможным принять этот дар и что на это у нее имеется очень много причин. Она отнюдь не хочет обидеть графа, но если он подумает, то поймет, что иначе она поступить не может. При этом всякая дальнейшая переписка по этому поводу, да и по каким бы то ни было другим поводам, совершенно излишня.

Тогда Орлов подарил этот дом Аркадию Маркову, которому он еще прежде для вида фиктивно проиграл его в карты. Марков не стал отказываться. С присущим ему коммерческим чутьем он очень выгодно распродавал наиболее ценные вещи, а сам дом сдал за крупную сумму под немецкое посольство, которое как раз нуждалось в новом помещении. Это значительно увеличивало состояние Маркова.

Интересно отметить, что это письмо было от слова до слова продиктовано мне Аделью и сам я не прибавил ничего. Между тем Екатерина, которой Орлов показал

его, решила, что Адель поступила так под моим влиянием, которое после смерти ее матери стало главенствующим. И резкая перемена образа жизни Адели, наступившая после смерти Розы, была тоже истолкована торжеством моего благотворного влияния. Следствием всего этого было получение мною вскоре строго официального письма от Одара, в котором секретарь ее величества сообщал мне, что государыне угодно видеть меня тогда-то вечером на эрмитажном собрании. Ее величество хочет предложить гостям интересную тему для обсуждения, в котором будет очень ценно мое участие, как признанного моралиста.

Конечно, последние слова принадлежали насмешливому уму Одара, так как их ирония звучала слишком открыто.

XII

Не помню, говорил ли я вам о том, что во время своих прежних посещений эрмитажных собраний я очень подружился с таинственной крестницей государыни, Катей Королевой? Вероятно, нет, так как в то время эта дружба не имела никакого значения для хода рассказа, а для запечатления всех подробностей нашего пребывания в Петербурге не хватило бы и двадцати томов.

По моему и желанию, конечно, Катя, крестница

да, меня и хрупкую, нежную катю действительно связывала самая чистая дружба. Ведь Кате говорил обо мне много хорошего «сам» маркиз де Суврэ, а это было самой лучшей рекомендацией для нее. Кроме того она слышала отзывы различных лиц обо мне, и это еще увеличило силу ее доверия. Да и я как-то обмолвился, что очень симпатизирую маркизу де Суврэ и недолголюбиваю Григория Орлова.

Каждый раз, встречаясь с нею на эрмитажных собраниях, мы подолгу беседовали с нею. Точно так же и на этот раз вся прелесть моего посещения дворца заключалась в разговоре с Королевой.

Собственно говоря, главная цель, которой мотивировала государыня свое приглашение через Одара, была до смешного незначительна и пуста. На представлении «Меропы» государыня обратила особое внимание на последние две строки заключительного монолога второго акта, действительно произнесенные Аделью с необыкновенной силой и мрачной выразительностью: «Когда все потеряно, когда нет более надежды, жизнь является бесчестьем, а смерть — долгом».

Как раз на другой день государыне доложили о необыкновенном случае, происшедшем той ночью. Офицер де Керси, сын французского эмигранта, был известен как страшный забияка и в то же время трус. Ему предстояла утром дуэль на шпагах с им же вызванным

князем Голицыным, одним из лучших мастеров шпаги в придворном обществе. Но де Керси так боялся этой дуэли, что предпочел ночью пустить себе пулю в лоб.

Вот по этому-то поводу у государыни зашел спор с Паниным. Екатерина выразилась, что отказывается понимать поступок де Керси. Ведь самоубийство является доказательством твердости характера и храбрости! На это Панин возразил, что самоубийство доказывает лишь малодушие и трусость: самоубийца – бесчестный должник, ускользающий от расплаты. Государыня сослалась на авторитет такого философа, как Вольтер, и привела эти две строки из монолога Меровы. Но Панин возразил, что автор не может быть признаваем ответственным за слова, которые он вкладывает в уста героя: например, у Шекспира Фальстаф открыто проповедует противонравственные теории, но это не значит, что и сам Шекспир восстает против нравственности. Аргумент Панина показался государыне довольно убедительным, и она решила разрешить интересовавший ее вопрос на ближайшем эрмитажном собрании.

Только никакого обсуждения на собрании не вышло. Изложив собравшимся «историю вопроса», Екатерина милостиво пожелала выслушать первым мое мнение. Ну, я и высказал все, что думаю по этому поводу!

Я сказал, что не знаю, вложил ли Вольтер в слова

Меропы свое личное мнение или нет, но во всяком случае такой взгляд приличествует лишь язычнице Меропе, а не христианину, который в вопросах морали должен руководствоваться правилами своей религии. А христианская религия бесспорно осуждает самоубийство как смертный грех. И, по-моему, самоубийство доказывает отсутствие не храбрости или трусости, а веры. Человек, искренне верящий в Бога, не потеряет надежды на Его милосердие, которое может проявиться даже тогда, когда кажется, что спасения быть не может. Пример этому мы видим хотя бы в той же самой трагедии «Меропа»: во втором акте королева предается отчаянию и не видит иного выхода, кроме самоубийства, а последний акт кончается ее полным торжеством!

— Таким образом, — закончил я, — для меня вопрос о самоубийстве представляется не в виде акта храбрости или малодушия, а просто следствием определенного мировоззрения. Языческое мировоззрение оправдывает самоубийство, христианство бесспорно осуждает его. А ведь часто бывает, что человек является по внутреннему складу и убеждениям чистейшим язычником, хотя он и значится христианином.

— Но позвольте, уважаемый месье де Бьевр, — сказал тут с обычными обезьяньими ужимками Одар. — Значит, по-вашему, покончить с собой может лишь неверующий человек? Означает ли это, что Керен был неверующим по

человек! Однако покойный де Керси был набожен до смешного! Я сказал бы: набожен, как истинный трус! Ну, как вы примирите это со своей теорией?

— Мы не знаем, был ли де Керси в здравом уме, когда решился на это страшное дело, — ответил я. — Ведь известны случаи, когда люди от страха сходили с ума, а вы же сами говорите, что он был страшным трусом. Я еще раз повторяю, что человек, совершающий или оправдывающий самоубийство, должен быть или неверующим, или сумасшедшим!

Ввиду того, что я сослался в доказательство своего воззрения на творения святых отцов, оспаривать мой взгляд было не очень-то удобно: это значило бы открыто признаваться в неверии. Таким образом, к моему величайшему удовольствию, это нелепое обсуждение на том и закончилось.

Как только гости разошлись группами и парочками, ко мне подошла Катя Королева.

— Господи, как давно я не видела вас, милый месье де Бьевр! — сказала она мне. — А мне вас так не хватало!

— Ого! — смеясь ответил я, усаживаясь с девушкой в одном из уютных уголков зала. — А что сказал бы наш общий друг, маркиз де Суврэ, если бы услышал подобное признание? Жестокая! Вы хотите моей смерти! Ведь Суврэ немедленно вызовет меня на дуэль!

— Нет, — просто ответила девушка, — он этого не сделает. Суврэ знает, что я его так люблю, так люблю...

Ах, что я только говорю! — перебила она сама себя, заалев и закрывая лицо руками.

— Полно вам стыдиться своего молодого счастья, дорогая моя! — ласково сказал я девушке. — Вы вот что мне скажите: поведали ли вы государыне тайну своего сердечка или все еще не решились?

— Нет, я еще ничего не говорила ей, но мне кажется, что она знает и относится благосклонно к нашей любви, — ответила Катя.

— О, так, значит, вас можно поздравить? Значит, ваше счастье не за горами? — весело спросил я.

— Оно дальше, чем было, — сказала девушка, с трудом подавляя слезы. — Ах, я так несчастна, так несчастна! Если бы я могла хоть с кем-нибудь поделиться своим горем.

— Как «хоть с кем-нибудь»? — удивленно воскликнул я. — А я? Разве...

— Осторожнее! — шепнула мне Катя. — Сюда идет Орлов! Говорите о чем-нибудь другом! Да скорее... Бога ради!

Я заговорил о театре, о произведениях Вольтера, о нравственных принципах, проводимых великим писателем со сцены. Подошел Орлов, с хмурой усмешечкой прислушался к моим разглагольствованиям, посмотрел на Катю долгим, тяжелым взглядом, заставившим ее побледнеть, и медленно прошел дальше.

— Ну-с, — сказал я, — чудище проползло мимо!

Теперь мы можем прекратить разговор о Вольтере, который вас ничуть не интересует. Лучше расскажите мне, дорогая, что тревожит вас?

— Нет, Бога ради продолжайте! — с каким-то испугом прошептала Катя. — Все равно я ничего не могу открыть вам, а ваш рассказ интересен и отвлекает меня от моих тяжелых дум!

Я пожал плечами и продолжал свою лекцию. Опять прошел Орлов, постояв минутку около нас и впиваясь в Катю своим тяжелым, гнетущим взглядом. Я, не обращая на него внимания, продолжал рассказывать. Когда Орлов уже в четвертый раз остановился таким образом около нас, вдруг сзади раздался голос государыни:

— Что, просвещаете мою пичужку, месье де Бьевр? Что же, я не желала бы ей лучшего учителя, чем вы!

— Если бы я был достойным давать уроки, — ответил я, — то я не желал бы себе лучшей ученицы, чем мадемуазель!

— Ну! — сказала Екатерина, ласково взяв Катю за подбородок. — Собственно говоря, мы с пичужкой ровно ничего не знаем: учились мало, да и способностей нам Бог вовсе не дал, так что какая уж она ученица!

— В ученике ценнее всего не способности, а характер, — ответил я.

— О, да, — согласилась государыня, наклоняясь и ласково целуя девушку, — что касается характера, то на нее грех пожаловаться! Недаром мою пичужку все

любя! Уж на что граф Григорий стал в последнее время нелюдимым, ни на кого глядеть не хочет, а и тот нет-нет да и подойдет... Ну, да недолго вам всем любоваться на мою Катю! Уж чувствую я, что где-то близко вертится злой коршун, который скоро утащит мою пичужку!

— Коршуна и подстрелить недолго, чтобы чужих птиц не таскал! — сказал Орлов, бросая многозначительный взгляд на Катю, которая сильно побледнела.

— Ну, наш-то коршун свою собственную утащит, — ответила императрица Екатерина, добродушно посмеиваясь. — Кстати, совсем забыла! Пойдем-ка, Григорий, ко мне в кабинет: есть важное дело!

— Бога ради, дорогой месье, сядьте рядом со мной, закройте меня собой! — зашептала Катя, и я видел, как подергиваются у нее уголки губ и щеки, предвещая близкие слезы. — Я не могу больше сдерживаться, я сейчас заплачу!

Я пересел так, чтобы закрыть от нескромных глаз тщедушную фигурку Кати, и сделал вид, будто занимаю ее веселым разговором. Когда же приступ острых рыданий прошел, я сказал бедняжке:

— Ну, а теперь, когда вы немного поплакали, дорогая моя, овладейте собою и примите более спокойный вид. А то, смотрите, подойдет кто-нибудь, и тогда вам волея-неволей придется дать объяснение слезам. Ну, а так как

лгать вы не умеете, то боюсь, что ваше признание попадет на человека, заслуживающего доверия еще меньше, чем я!

— Да я вовсе не от недостатка доверия... Как вы могли подумать! — с упреком сказала девушка, собираясь снова заплакать. — Вам именно я сказала бы все и гораздо скорее, чем кому-либо другому. Но я боюсь, боюсь!

— А все-таки вам надо побороть свой страх, деточка, — твердо сказал я. — Я вижу, что вы не в состоянии одна справиться со своим горем...

— Ах, где тут справиться! — с отчаянием перебила меня девушка. — Знаете, милый, когда вы сегодня говорили о самоубийстве... Ах, вы не можете себе представить, что я испытывала в это время!..

— Вот что я вам скажу, — сурово остановил я Катю. — Как вижу, дело у вас очень серьезно, а мы с вами тратим время на лирические излияния и на разные «ах!» да «ох!». Ну, успокойтесь и рассказывайте!

Бедная девочка рассказала мне все. С первого момента приезда в Россию она почувствовала непреодолимую антипатию к графу Григорию Орлову. Того это, должно быть, задело за живое, и вот он, всесильный фаворит, стал преследовать Катю своим вниманием. Чем больше пугалась девушка этого внимания, тем назойливее становился граф. Быть может, в конце концов он даже и полюбил бы ее, как знать? Но

это была бы страшная любовь, злобная, нечистая... Когда Катя полюбила Суврэ и убедилась, что и маркиз тоже любит ее, граф Григорий первый подсмотрел тайну ее сердца. С этого момента он стал еще назойливее и наглее. Как он ее мучает! Он открыто говорит ей, что не отдаст никому и скорее согласится видеть ее мертвой, чем принадлежащей другому. А уж маркизу де Суврэ он ее никоим образом не отдаст, нет, нет! И пусть она лучше даже не пытается вырваться из его, Орлова, власти! Жалобы императрице не помогут: все равно он всегда оправдается. Ведь у Кати нет никаких доказательств, а он, Григорий, слишком нужен государыне, чтобы она пожертвовала им ради нелепых девичьих страхов. Зато малейшая жалоба Кати, малейшая попытка сбросить с себя наложенные им цепи сейчас же отзовется на маркизе де Суврэ. Однажды Орлов прижал ее в темном уголке и поцеловал, Катя набралась храбрости и кинулась к императрице за защитой. Но ей сумели помешать, а в тот же вечер на маркиза со всего маху наехала чья-то карета, и только чудом Суврэ отделался незначительным ушибом. Не прошло и часа с момента этого происшествия, как Орлов нашел возможность сказать Кате:

– На этот раз я пощадил его! Но помни, глупая девчонка: если ты еще раз вздумаешь кинуться к государыне с жалобой, твоего француза не будет на свете! И не воображай, что ты сможешь принести свою

жалобу втайне от меня: я все слышу, все вижу, все знаю!

Все это ставило девушку в безвыходное положение. Она не может сказать ни слова императрице, так как это сейчас же отразится на маркизе. Она не может искать защиты у маркиза, так как Суврэ горяч и кинется требовать объяснений у Орлова, а это не кончится добром. Но и выносить более преследования Орлова она тоже не может. Словом, жизнь для бедной девочки стала совсем невозможной и она не видит выхода из создавшегося положения.

— Милая, хорошая моя девочка! — сказал я Кате в ответ на это признание. — Ваше положение действительно очень неприглядно, и я дивлюсь той силе духа, которую дает такому хрупкому, пуливному созданию, как вы, горячая любовь. Ведь надо иметь немалую твердость, чтобы так долго таить в своем сердце всю эту муку. Но вот чего я не понимаю. Вы назвали себя очень верующей, а между тем отчаиваетесь и даже лелеете мысль о самоубийстве. Неужели вы так низко ставите Божье всемогущество, что не признаете возможности выхода? Неужели вы не верите, что Он может одним дыханьем Своим смести все препятствия?

— Господи! Да на Него Одного вся моя надежда! — страстно ответила девушка. — Как могла бы я жить, если бы у меня не было моей веры? Но вера верой, а все же трудно, когда ни в чем не видишь оправдания ей. Я ведь

не знаю, может быть, господу нужно для чего-нибудь мое страдание; может быть, мне не суждено быть счастливой! Ну, скажите вы сами, милый месье де Бьевр, видите ли хоть какую-нибудь возможность счастливого исхода из этого положения? Ну да, я знаю – вы скажете, что бывают всякие случайности. Орлов может заболеть, умереть, впасть в немилость... Но рассчитывать на это... Нет, вы скажите: видите ли вы какую-нибудь возможность в обычном порядке?..

– Да, милая барышня, я вижу ее! – торжественно ответил я, припомнив кое-что в этот момент. – Известно ли вам, что до сведения государыни дошли слухи о вопиющих злоупотреблениях в Новгородской губернии и что государыня собирается послать расследовать эти злоупотребления графа Григория. Может быть, об этом-то она и советуется с ним теперь!

– И что же? – пылко спросила Катя, глаза которой загорелись надеждой.

– А как только он уедет, вы признайтесь государыне в своей любви к маркизу де Суврэ и придумайте какую-нибудь правдоподобную историю, которой можно объяснить необходимость поспешить с браком... Скажите ей хотя бы, что маркиз отозван своим правительством или что его призывают важные семейные дела. Да мало ли что можно придумать! Суврэ в дружбе со своим послом, и тот устроит ему это. Если Орлов уедет на следствие, то оно отнимет у него недели

две-три. Ну, а в течение этого времени вы можете успеть обвенчаться и уехать.

— Милый мой! — сияя счастьем, сказала мне девушка. — С какой радостью я расцеловала бы вас сейчас!

— Здесь это будет, пожалуй, неудобно, — шутливо ответил я, — но я буду считать поцелуй за вами долгом, подлежащим уплате в день обручения; а пока же наградой мне будет служить уже то, что вы опять расцвели. А то мыслимое ли дело! Еще заметил бы кто-нибудь ваши слезы, ваше волнение... Однако мне надо идти. Мы и так слишком долго сидим с вами, и будет чудом, если на это никто не обратил внимания!

Но чудеса вообще встречаются очень редко, и потому я тут же должен был убедиться, что на наш разговор с Катей кое-кто не только обратил внимание, но даже подметил в нем именно то, что мы хотели скрыть.

Не успел я сделать и десяти шагов, как меня остановил Одар, стоявший с несколькими молодыми людьми у колонны.

— Ах, вот как кстати я вижу вас! — с ужимками и гримасами воскликнул он. — Будьте добры, разрешите мое сомнение — к четырнадцатому или тринадцатому веку относится эта песнь менестрелей?

И Одар с ужимками проскандировал:

Тайну сердца молодого
Сердцем пылким я подслушал,
Слезы первых мук любовных
Я сквозь слезы подсмотрел.

Намек был слишком ясен, насмешка слишком очевидна. Я внутренне вскипел, но наружно остался совершенно спокойным и спросил:

— Но почему же вы считаете меня более компетентным в этой области, чем себя самого?

— Да помилуйте, смею ли я равняться с вами в начитанности и учености! — с утрированным подобострастием ответил пьемонтец.

— О, зачем вы так принижаете свои дарования, месье Одар! — с обворожительной улыбкой возразил я. — Раз дело идет о том, что кто-то что-то «подслушал» и «подсмотрел», то ничья компетенция не сравнится с вашей!

Сказав это, я поклонился и отошел в сторону. Окружавшие нас придворные от души расхохотались, и Одар смеялся громче их. На такие «пустяки» он совершенно искренне не обижался!

– Господи! Сколько уже времени мы следим за каждым его шагом, и хоть бы что! Хоть бы одна ниточка, хоть бы один волосок!.. Неужели я так и останусь не отомщенной?!

Эти слова я услышал на пороге гостиной нашего дома, куда зашел «на огонек», вернувшись из дворца. Я сразу понял, кто был этот «он», о котором говорила Адель, и та фраза дала моим мыслям новый толчок.

«Он», то есть Григорий Орлов, был мне довольно безразличен. Симпатии к нему я, конечно, не питал и скорее чувствовал непонятное внутреннее отвращение. Но и при всей своей антипатии к графу я никак не мог разделять мстительные чувства Адели. Ведь по отношению к графу Григорию она поступила почти так же скверно, как Одар поступил с нею, а поступок Одара по отношению к Адели был несравненно оскорбительнее, бесчестнее и болезненнее, чем поступок Орлова. Последний лишь погорячился, недостойно поднял руку на слабейшего, на женщину; но при этом он все же был первой оскорбленной стороной; поведение Адели вызвало его на такую дикую расправу. А Одару Адель никогда ничего, кроме хорошего, не делала, и все же он за грош продал ее. Однако мстить Адель хотела не Одару, а Орлову! Каюсь, я никак не мог найти психологический ключ к этому яркому проявлению так называемой «женской логики»!

Не сочувствуя мстительным замыслам Адели, я старательно уклонялся от участия в их обсуждении. Конечно, я был до известной степени в курсе всех предпринятых шагов. Я знал, что Адель при помощи Фельтена окружила Орлова целой стаей искусных сыщиков, которые доносили ей о каждом сделанном им паге. Но, как назло, в жизни Орлова теперь все было совершенно чисто, и его не удавалось поймать хоть на самой мелкой измене своей венценосной покровительнице. Адель и Фельтен просто с ума сходили от злости, и к этому-то относились услышанные мною при входе слова:

— Хоть бы одна ниточка, хоть бы волосок!

Эти слова сразу изменили мои мысли. Я не был расположен мстить Орлову за заслуженный Аделью удар плеткой, но за те страдания, которые причинял фаворит императрицы маленькой Кате, он заслуживал примерного наказания. Этим наказанием могло бы явиться устройство полного счастья Кати с маркизом, а в предупреждение его попыток устранить противника пригодилась бы устроенная Аделью слежка. Следовательно, если я хотел оказать Кате дружескую услугу, я должен был примкнуть к планам Фельтена— Адели и посвятить их в историю Орлова с Катей Королевой. Пусть у нас с Аделью разные мотивы, но цель-то ведь одна!

Поэтому, входя в гостиную, я торжественно сказал, как бы отвечая на цитированную в начале этой главы фразу Адели:

– Выслушай меня, и я дам тебе в руки не только волосок или ниточку, а целую сеть, из которой «он» не вывернется!

В ответ на полные радостного изумления вопросы Адели и Фельтена я рассказал им о признании, сделанном мне крестницей императрицы.

– Устроив счастье маленькой Кати и маркиза де Суврэ, – закончил я, – мы тем самым нанесем злейший удар надменному фавориту!

Адель вспыхнула.

– Я совершенно не расположена заботиться о счастье господина Суврэ, – резко ответила она, вспомнив, с какой оскорбительной холодностью маркиз отклонил на похоронах Розы приглашение Адели. – И до страданий этой маленькой гусыни мне тоже нет никакого дела. Таким образом ты сильно ошибаешься, если думаешь, что эта трогательная история может иметь для меня какое-либо значение. Разве о такой мести думаю я? Разве булабочные уколы – казнь для гиганта? Я хочу обесчестить Орлова, насмеяться над ним, сбросить его с пьедестала в пропасть, растоптать! А ты предлагаешь мне оставить его без пирожного, словно провинившегося школьника!

– Нет, Адель, ты ошибаешься, – ответил я, – чувство

Орлова – не простая прихоть, не случайный каприз; это – та самая одурманивающая страсть, которая толкает человека на преступление. Если бы ты видела, какие взгляды бросал он на девушку! Если бы ты слышала тон, которым он сказал: «Коршуна и подстрелить можно, чтобы он чужих птиц не таскал!» Здесь пахнет преступлением, Адель, потому что маркиз и Катя слишком любят друг друга, чтобы отказаться от своего счастья, а у Орлова мозг слишком затуманен страстью, чтобы уступить девушку другому. Иного исхода, кроме преступления, здесь не может быть. Правда, я подсказал Кате возможность мирного решения, но на эту возможность так мало надежды, что она едва ли осуществится. Я сказал Кате Королевой, что Орлова, вероятно, командируют на расследование злоупотреблений, которых так много раскрылось в последнее время...

– Для этого имеется достаточно шансов, – перебил меня Фельтен, – мне только что рассказывал Всеволожский, который слышал это от Одара, что государыня крайне возмущена новым фактом, обнаруженным в Новгородской губернии. Там взяточничество возросло до такой виртуозности, что с крестьян брали деньги даже за приведение их к присяге на верность императрице! Действительно дальше идти уже некуда! Государыне доложил об этом чуть ли не Разумовский. Локпал был слепан часов в семь вечера. а в

восьмь государыня говорила об этом с Одаром, и в разговоре было упомянуто имя Григория Орлова, как самого желательного в роли ревизора.

— Ну да, я тоже слышал об этом, — ответил я, — и потому-то и подал Королевой надежду. Однако отъезд Орлова мало устраивает девушку. Как только Орлов уедет, она откроет государыне свою любовь к маркизу и придумает что-либо для ускорения свадьбы. Но все это слишком наивно, и я сказал это Кате лишь потому, что видел, насколько она пала духом. Между тем едва ли государыня согласится поспешить со свадьбой, а через три недели Масленица, затем Великий пост, пасхальная неделя... Ведь пройдет больше двух месяцев, пока свадьба может состояться... В это время Орлов успеет справиться с пятью ревизиями, а не то что с одной, и вернувшись, пойдет на что угодно, лишь бы помешать этому браку. Но помешать он может лишь преступлением...

— Однако даже если государыня согласится на просьбу своей любимицы и устроит ее свадьбу до поста, все равно это мало поможет делу, — задумчиво сказал Фельтен. — Что стоит всемогущему Орлову бросить все и прискакать из Новгорода, чтобы до свадьбы устранить соперника!

— Не дай Бог! — сказал я, внутренне содрогаясь.

— Нет, дай Бог! — крикнула Адель, топая ногой. —

даи бог, чтобы так и было, тогда Орлов в моих руках, и я раздавлю его! Если свадьба будет отложена на долгий срок, то у Орлова будет время исподволь, осторожно подготовить преступление, и легко может случиться, что у нас не окажется улики против него. Если же он узнает о готовящейся свадьбе в другом городе, он все бросит и примчится в Петербург, чтобы помешать! У него не будет ни времени, ни достаточного душевного спокойствия, чтобы как следует обдумать все, и мы тогда успеем схватить и удержать занесенную им руку, поймав его на месте преступления! Тогда кончено с тобой, Григорий Орлов! Как женщина, как государыня и как человек, императрица будет слишком глубоко задета твоим поступком, и ты упадешь еще ниже, чем та безвестность, из которой тебя подняла монаршая воля! И тогда я приду к тебе, плюну в лицо, Орлов, и скажу: «Ты ударил меня один раз, и вот за это я наступаю тебе на горло!» О, какой это будет отрадный миг!

Адель захохотала, и от ее хохота невольно пробирала дрожь. Вдруг она сразу смолкла; в дверях показался лакей, доложивший:

– Там пришел этот чумазый, барышня.

– Да ведь я же говорила, чтобы его пускать во всякое время! – нетерпеливо крикнула Адель.

Лакей отстранился от дверей и пропустил невысокого юреностого мужчину в потертом и выцветшем пальто. Оливковый цвет немолодого лица и

жгуче-черные, начинавшие сесть волосы выдавали в нем южанина.

– В чем дело, Строфидас? – спросила Адель. Строфидас подошел вплотную к Адели и сказал:

– Его сиятельство граф Григорий Орлов оставил лошадей на углу Фуршадтской, недалеко от вашего дома, а сам пешком отправился в переулок. Мои люди следят за ним. Я тоже сейчас отправляюсь на slejku и зашел только предупредить, что завтра утром я буду у вас с докладом. Чутье подсказывает мне, что здесь мы наткнемся на что-нибудь интересное!

Строфидас ушел.

– Неужели наконец?.. – стоном вырвалось у Адели.

XIV

Строфидас, грек по рождению, имел очень пестрое прошлое. В юности он был членом опаснейшей шайки международных воров, с которой объездил всю Западную Европу. Затем Строфидас работал только на себя, и однажды ему пришлось попасть в очень затруднительное положение, причем он уже не рассчитывал вылезти из случайной западни. И вот, забившись словно затравленная крыса в угол чердака и ожидая, что его с минуты на минуту схватят, Строфидас задумался о своей жизни. Он вспоминал все те беды, все волнения. все опасности. которые прихотилось

переживать, и понял, что, в сущности говоря, этот рискованный промысел не дал ему ровно ничего, а только обогащал скупщиков украденного им. Вот эти-то соображения в связи с явной безвыходностью положения привели его к торжественной клятве: если Бог выручит на этот раз его, Строфидаса, он бросит свой позорный промысел и будет зарабатывать насущный хлеб честным трудом.

На редкость благоприятное стечение обстоятельств дало Строфидасу возможность вывернуться из беды, и он решил отныне строго держаться данной им клятвы. Это случилось с ним в Орлеане. Строфидас прибыл в Париж, явился к начальнику полиции, откровенно повинился в своем прошлом и просил принять его на службу. С испокон века раскаявшихся мошенников встречали в полиции с распростертыми объятьями. Так было и тут: Строфидаса сейчас же приняли в штат. Но на честном поприще ему не повезло. Менее чем за десять лет Строфидас перебивал на службе у Франции, Австрии и Англии. Наконец он прибыл в Россию, поступил на службу, но и здесь повторилась старая история: Строфидас не поладил с начальством и должен был уйти. Однако из России он на этот раз не уехал, а остался там, занимаясь частным сыском. После смерти императрицы Елизаветы Петровны к услугам Строфидаса обратились братья Орловы. Строфидас

верою и правдою служил партии императрицы Екатерины Алексеевны, но однажды случилось так, что о тайне, вверенной Строфидасу, пронюхала неведомыми путями Воронцова, и заговор чуть-чуть не лопнул. Григорий Орлов не поверил уверениям Строфидаса в невинности, жестоко избил ни в чем неповинного сыщика, не заплатил ему условленных денег и вытолкал вон. В самом непродолжительном времени после этого состоялся переворот, и на престол вступила Екатерина Вторая. Строфидас хотел было бежать из России, опасаясь преследований, но на первых порах его удержала жалость бросить хорошенький домик, построенный на трудовые деньги. Дальнейшее течение событий показало, что о Строфидасе и не думают, и сыщик понемногу стал опять выползать на свет Божий, стараясь, однако, не попадаться на глаза Орлову.

Когда Фельтен, из любви к Адели, принял участие в ее мстительных планах, он первым же делом поднял вопрос о необходимости нанять на подмогу опытного филера. Ведь у Орловых, при их бесшабашной натуре, вечно случались грешки, и иные из них были такого свойства, что фавориту императрицы и его брату несдобровать бы, узнай только о них Екатерина. Еще сравнительно недавно Орловы выкрали купеческую дочку, надругались над ее девичьей чистотой и потом безжалостно бросили в поле, где несчастная замерзла.

Когда же отец с отчаянья решил кинуться в ноги императрице и просить ее о розыске и наказании виновных, почтенного старца постигла страшная смерть: ночью его дом загорелся со всех углов, а закованные снаружи двери помешали купцу спастись от пожара. И так сгорела страшная тайна преступления!

Подобных темных дел было немало на совести у Орлова, и, если бы удалось хоть одно из них вывести на чистую воду, справедливая императрица Екатерина не оставила бы преступного фаворита без примерного наказания. Но именно потому, что она была справедлива, она не стала бы наказывать, не имея на руках точных доказательств вины. Вот для добычи-то этих доказательств и нужен был хороший филер.

Однако, несмотря на то, что в то время Петербург не менее, если только не более, любой другой столицы кишел шпионами и сыщиками, было не так-то легко найти именно то, что нужно. При том огромном влиянии, при тех грандиозных средствах, которыми располагал Орлов, всегда могло случиться, что сыщик, накопив материал, отправится продавать его самому Орлову. И вот тут-то Фельтен вспомнил о Строфидасе.

Строфидас согласился взяться за слежку лишь после долгих колебаний. С одной стороны, ему страстно хотелось свести старые счеты с фаворитом, с другой — он боялся неудачи, боялся, что раскрытие какого-нибудь орловского грешка не поколеблет положения фаворита,

и тогда гнев последнего окончательно раздавит его благополучие. В конце концов Строфидас пошел на своего рода компромисс: он вызвался с полным рвением и жаром помогать в расставлении западни фавориту, но заранее предупредил, чтобы на него, как на свидетеля, Адель не рассчитывала.

— Вы уж с этим считайтесь, сударыня, — сказал он Гюс, — если вы вздумаете потом ссылаться на меня, как на свидетеля, то я ни слова не скажу! Отопрусь от всего, даже от того, что собственными глазами видел!хлопотать и стараться для вас буду больше, чем старался бы для себя, ну, а уж показывать против графа — нет, увольте-с.

Так и порешили, и Строфидас взялся за слежку. Он показал себя большим мастером сыска, и иной раз Адель получала от него такие точные сведения об интимнейших и сокровеннейших сторонах жизни фаворита, что оставалось только руками развести от удивления, каким образом мог разузнать все это пронырливый грек. Но не Строфидас был виноват, если в жизни Орлова, как назло, не было ничего преступного, и Адель начала уже терять надежду, как вдруг, в вечер моего возвращения из Эрмитажа, Строфидас на минутку забежал к ней, чтобы известить, что на следующий день он сделает ей доклад о новом следе, на который он напал.

Можно себе представить, как пылко и горячо ждала

можно себе представить, как лихорадочно ждала Адель следующего утра! И мне, и Фельтену, пришедшему ни свет ни заря, чтобы присутствовать при сообщении Строфидаса, пришлось почувствовать это нетерпение, как говорится, «на собственной шкуре»!

Но чем напряженнее было ожидание, тем полнее оказалось разочарование, навеянное первыми откровениями Строфидаса.

Адель была совершенно обескуражена. Как! Значит, Орлов просто был у старухи-гадалки, которая поселилась в маленьком домике неподалеку от Фуршгадтской? Ну и что же из этого? Мало ли кто ездит к ворожеям! Тут еще нет ничего преступного! И в том обстоятельстве, что, уезжая, Орлов сказал: «Значит, через три дня, старуха!» – тоже нельзя усмотреть что-нибудь чрезвычайное... Нет, она, Адель, положительно ждала чего-либо большего от прозорливости Строфидаса! Конечно, раз событий нет, Строфидас не может создать или выдумать их, но в таком случае не надо по крайней мере обнадеживать, не надо внушать несбыточные надежды.

Строфидас дал излиться потоку негодованья и потом спокойно спросил:

– Известно ли вам, что вчера поздно вечером граф Григорий получил от ее величества поручение отправиться на ревизию в Новгород?

– Да, я слышала, – ответила Адель.

— И неужели то обстоятельство, что через пару часов после этого назначения граф кидается к ворожее, не наводит вас ни на какие размышления? — улыбнулся Строфидас. — Ведь отъезд графа Григория назначен через три дня; в течение этого времени графу необходимо ознакомиться со следственным материалом, получить инструкции государыни, выбрать себе помощников. И все-таки граф находит возможным еще перед отъездом побывать у гадалки, как это явствует из его прощальной фразы: «Значит, через три дня, старуха!» Неужели это ничего не говорит вам?

— Да что же тут особенного! — пренебрежительно отозвалась Адель. — Граф играет в такую темную игру, что ему больше, чем кому бы то ни было, важно и интересно проникнуть в тайны будущего!

— Совершенно верно, — подхватил Строфидас. — К ворожеем ездят или из праздного любопытства, или тогда, когда что-нибудь тревожит. При данных обстоятельствах мы не можем заподозрить, что графом Григорием любопытство овладело с такой силой, которая заставляет его забывать о сборах и хлопотах. Значит, графа что-нибудь тревожит. Но что? Его политическое влияние в данный момент стоит высоко и незыблемо, и это сказалось уже в самом поручении, для которого государыня хотела избрать наиболее влиятельное, заслуживающее наибольшего монаршего доверия лицо. Враждебная Орлову партия теперь очень

ослаблена, и ее вожаки не пользуются у государыни ни малейшим авторитетом. Соперников в личной милости государыни у графа тоже нет. Значит, тревога относится не к государственной, а к частной жизни графа. В данный момент у Орлова нет никакого тайного романа; все его сердечные интересы сосредоточены около личности фрейлины государыни, девицы Королевой, которая не платит ему взаимностью и всецело отдала сердце маркизу де Суврэ. Отсюда следует одно: тревога графа объясняется боязнью, не ускользнет ли окончательно в это время девица Королева от графа Григория, и посещение гадалки вызвано надеждой графа, не поможет ли ему тут магия.

— Преклоняюсь перед вашей логикой, Строфидас, — сказала Адель, пожимая плечами. — Я вполне убеждена, что вы совершенно правы и визит Орлова к ворожее именно и объясняется этой дурацкой страстью. Но что дальше? Я не вижу, как мы можем использовать все это для наших целей! Допустим, что ворожея дала графу какой-нибудь любовный эликсир, допустим, что Королева разлюбит маркиза. Да нам-то какая польза от всего этого?

— Мне пришлось в свое время много интересоваться магией и разными волшебными напитками. Я пришел к убеждению, что нельзя отрицать существование многих тайных сил и что существуют люди, которые умеют направлять эти силы. Но таких людей немного, а

направлять эти силы. Но такая лодка немалого, а большинство всяких колдунов представляет собою просто шарлатанов-знахарей, торгующих малоизвестными медицинскими снадобьями и ядами. Так называемый «любовный эликсир» обыкновенно представляет собою вытяжку из некоторых растений, иногда даже настой из насекомых, обладающий свойством приводить человека в состояние особого любовного безумия. Под действием этого снадобья человека охватывает непобедимая любовная страсть, причем, вследствие потемнения рассудка, отравленный забывает стыд и доводы разума, уподобляясь дикому животному в беззастенчивости средств к погашению пожара чувств. Вот каково действие этого «эликсира». Волшебного в нем нет ничего, потому что всякий опытный врач сумеет найти следы и признаки его, ну, а волшебное не оставляет видимых следов. И теперь для меня ясно, что из посещения графом гадалки должно выйти что-нибудь преступное. Если эликсир поможет...

— О, государыня никогда не простит Орлову этого! — воскликнула Адель с загоревшимися глазами. — Да, да, в этом вы правы, Строфидас! Из этого еще может кое-что выйти! Только вот в чем вопрос: как нам проследить всю эту историю? Ведь что бы ни случилось, а одного посещения Орловым гадалки будет мало для улики?

— Я тщательно ознакомился с местностью, — ответил

грек, — и убедился, что ваш дом стоит почти на одной линии с лачугой гадалки. С улицы этого не заметно, так как повороты сбивают с толка. Но на самом деле ваш сад, который тянется длинной и узкой полоской, правым углом подходит к огороду, окружающему заднюю половину лачуги. Это очень удобно.

— Дальше, дальше, Строфидас! — лихорадочно крикнула Адель, когда грек снова остановился. — Не дожидайтесь вопросов, понуканий и поощрений! Я вижу, что у вас уже сложился готовый план. Так не томите и выкладывайте его!

План Строфидаса был очень прост и очень умен. Благодаря свирепствовавшим в последнюю неделю снежным бурям, в нашем саду намело целые горы. Задняя стена дома гадалки была тоже совершенно занесена, и из-под снега виднелся лишь край резного наличника. Первым делом надо было прорыть в снегу траншею до границ нашего сада, от границ идти коридором к дому и осторожно подобраться к окну. Тут надо устроить первый наблюдательный пункт. Затем Строфидас под видом клиента побывает у гадалки, посмотрит, нельзя ли устроиться так, чтобы видеть и слышать все происходящее внутри, и, когда через три дня Орлов придет к ней, можно будет подслушать все, что там произойдет.

— Но в таком случае надо сейчас же браться за работу, не теряя времени! — крикнула Адель.

– Мои люди уже роют снег, – с поклоном ответил грек.

XV

Вечером Строфидас явился опять, чтобы вести Адель по прорытому снежному коридору к дому гадалки. С Аделью, кроме него, отправился Фельтен; я же остался дома, так как мое участие во всем этом деле могло лишь помешать, но не помочь. Строфидас совершенно верно заметил, что каждый лишний человек увеличивает возможность спугнуть подстерегаемую птичку. А между тем я даже как свидетель не могу быть особенно полезным, так как моя близость к Адели уменьшит убедительность моих показаний.

Итак, они отправились. Сначала они прошли траншеей до границ сада, затем нырнули в коридор, а у самого дома им пришлось даже проползти несколько шагов на коленях. Таким образом они попали в небольшую нишу, естественно образовавшуюся в снегу, облепившем стену и окно. Тут они приникли к широким щелям ставни.

Их взорам открылась довольно большая комната, обставленная небрежно, грязно, но роскошно. Видимо, это было частное помещение гадалки, а не ее приемная комната. Тут была роскошная шелковая оттоманка, около которой стояло грязное ведро. Простой некрашеный

хитон был полуприкрыт дорогой парчовой скатертью, залитой во многих местах жиром. На стульях, креслах и табуретах были разбросаны принадлежности женского и мужского туалета. В обширной русской печи мерцал огонек.

В комнате некоторое время никого не было. Наконец показался более яркий свет, и в комнату с трехсвечником в руках вошла гадалка. Это была очень старая женщина, одетая в какой-то фантастический хитон с нашитыми на нем серебряными звездами и черепами. Гадалка бросила на стол несколько золотых монет, видимо, полученных за сеанс, и скинула с головы седой парик, из-под которого показались тяжелые черные косы. Затем она отошла в угол и принялась возиться около умывальника, после чего сняла хитон, накинула пестрый шелковый халатик и принялась накрывать на стол, расставляя там всякие яства и напитки. Снова открылась дверь; вошел молодой красивый турок, игравший роль слуги при гадалке. Увидев его, гадалка обернулась и показала подглядывавшим совершенно молодое, очень красивое лицо восточного типа, обрамленное тяжелыми черными косами. При виде этого лица Строфидас вздрогнул, побледнел, и с его уст еле слышным шепотом сорвался тихий возглас:

— Зоя-отравительница!

Г.....

1 адалка поспешно поставила на стол оутылку вина, которую несла, и подбежала к турку. Она с бесконечной любовью и страстью прильнула к нему, он обвил сильными руками ее гибкий стан, и их губы слились в долгом, страстном лобзании.

Строфидас взял за руки Адель и Фельтена и знаками предложил им следовать за собой обратно.

— Однако дело оказывается еще интереснее, чем я думал! — сказал он. — Ведь гадалка-то на самом деле оказывается известной Зоей-отравительницей, моей прекрасной соотечественницей, из-за которой я в свое время — это было лет пять тому назад — потерял службу! Теперь мне понятен этот маскарад! Ведь полиция была бы очень рада свести с ней старые счеты! О, это — очень опасная женщина! Она в совершенстве владеет ведьминской рецептурой, и редкий ученый-химик знает так разные тайные яды, как эта хитрая, красивая змея! Так значит, она опять принялась за старое? В царствование покойной императрицы Елизаветы много людей отправилось к праотцам раньше срока, и не сбеги тогда Зоя, ей не миновать бы строжайшего возмездия. В тот раз она ловко обошла меня... Ну, да это никому не интересно. Для нас важно лишь то, что из посещения Орловым такой ведьмы ничего, кроме преступления, выйти не может!

Весь следующий день Строфидас провел в розысках. Он побывал также (переряженным,

разумеется) у гадалки и обнаружил, что между трубой небольшого очага, в котором она, должно быть, варила свои зелья, и потолком имеется широкое отверстие, через которое с чердака можно следить за всем происходящим в приемной комнате.

Перед вечером третьего дня агенты Строфидаса устроили на улице сильный шум, разыграв комедию драки. Как и ожидал хитрый грек, гадалка и турок выбежали на крыльцо, а тем временем сыщик с ловкостью кошки взобрался на крышу, проник через слуховое окно на чердак, обследовал там все, пристроил лестницу, по которой можно было легко взобраться туда, и спокойно скрылся обратно. Позднее, как только дозорный дал знать, что показались сани Орлова, он повел Адель и Фельтена на чердак. Орлову приходилось идти пешком от угла, и таким образом Адель со своими сообщниками устроилась на наблюдательном посту еще до его прихода к гадалке.

Минут через пять после того как они прилегли у щели на заранее припасенных соломенных матах, во входную дверь послышался сильный стук. Турок бегом кинулся отворять, и вскоре в комнату вошел Григорий Орлов. Он был очень мрачен, взволнован и нетерпеливо мерил крупными шагами приемную комнату, ожидая появления ворожей.

Но вот скрипнула дверь, и на пороге показалась Зоя-отравительница в своем маскарадном старушечьем

виде. Увидев мрачную фигуру графа, она пронзительно, хрипло расхохоталась.

— Ну, что? Не удалось? — лаконично спросила она.

— Нет, проклятая старуха, не удалось! — сердито ответил граф Григорий. — Твое дьявольское питье лишь усилило ее любовь к другому, но не ко мне. Чтобы тебя черт побрал!

— погоди ругаться, молодчик, и лучше расскажи, как это было, — сказала ворожея.

— Я нашел возможность подлить ей десять капель твоего снадобья на другой же день, часов около двух. К вечеру она стала совсем безумной, принялась кричать, что она не может жить без своего миленького, и требовала, чтобы его сейчас же привели к ней. В заключение с ней сделался сильнейший припадок, она каталась в конвульсиях по полу, изо рта у нее била пена, и доктор уже начинал бояться, что она не выживет. Но к утру она успокоилась, вчера весь день пролежала, а сегодня встала. Когда же я встретился и поздоровался с нею, она отскочила от меня еще боязливее, чем прежде, и в ее взгляде было еще больше отвращения, чем всегда!

Ворожея опять расхохоталась.

— Ну что же, — сказала она, — ведь я предупредила тебя, что, если ты хочешь овладеть любовью твоей красотки, то должен быть около нее в тот момент, когда снадобье начнет действовать. Ведь говорила тебе:

человеческая любовь — это такая страшная сила, перед которой отступает знание самых сильных чародеев. Если сердце свободно, тогда не трудно посеять в нем семена страсти, тогда несколько капель моего снадобья кинут в твои объятия самую недоступную женщину. Но раз она уже любит другого, она не разлюбит его ни от каких волхвований: чистая любовь сильнее наших чар. И берегись, молодчик! Может случиться то, о чем я тебя предупреждала: что ты посеял для себя, благодаря этим каплям пожнет другой! Ну, а если твоя красotka станет женой своего миленького — все равно, по закону ли это будет, или нет, — тогда для тебя пропадет всякая надежда!

— Так на кой же дьявол нужно твое чародейство, если ты не можешь ничего сделать? — загремел взбешенный Орлов.

— Ну не шуми, не шуми, милый мой! — спокойно ответила ворожея. — Может, я уж не так бессильна, как ты думаешь. Если снадобье не помогло, так я за то и не ручалась. Ведь я спросила, любит ли она кого-нибудь уже, и когда узнала, что любит, то сказала тебе: снадобье может и не помочь! Но можно сделать так, что оно поможет; для этого есть средство!

— Так выкладывай его!

— Но оно опасно!

— Я не боюсь опасности.

— И... дорого стоит!

Вместо ответа Орлов швырнул на стол туго набитый кошелек; тот сейчас же исчез в складках черного хитона ворожеи.

— Мое снадобье поможет, — заговорила она, — если сердце, которым хотят овладеть, свободно. Значит, надо сделать свободным сердце твоей миленькой; значит, надо устранить соперника. Девичье сердце отходчиво: поплачет-поплачет, а там, глядишь, уже и опять начнет по сторонам оглядываться. Вот тут ты и не зевай! Пять капель моего снадобья — и тогда отказа не будет!

— Устранить! Это легче сказать, чем сделать! Кинжал требует сообщника, яд оставляет следы...

— Нет, молодчик, это легче сделать, чем сказать! За что же я с тебя деньги-то взяла? Неужели за один совет? Нет, я тебе дам другое снадобье, которое убивает сразу, верно и бесследно. Вот, смотри! — Ворожея встала, достала из стоявшего в углу большого расписного сундука маленький ларец, отперла его и вынула оттуда маленький флакон. — Вот! — повторила она, торжественно поднимая флакон кверху. — В этой склянке заключены многие тысячи смертей. Достаточно одной булавочной головки этого камня, чтобы человек расстался с жизнью. О, это — бесценное средство! Один запах его уже убивает. А крупинки так прозрачны, малы и незаметны, что их можно всегда подсыпать в стакан или тарелку. Я дам тебе две крупинки! Угости-ка одной из них того, кто отбил у тебя сердце красотки!

— Хорошо! — мрачно ответил Орлов, протягивая руку. — Завтра же я испробую, так ли хорошо это средство, как ты говоришь.

— Завтра? — с некоторым испугом сказала ворожея. — Ну, нет, молодчик, надо сначала погадать и спросить у судьбы, в какой день твой замысел может рассчитывать на успех. Дай-ка свою руку!

Она взяла графа за руку и принялась внимательно рассматривать линии его руки, затем взяла со стола плиняный стакан, потрясла его и высыпала находившиеся в стакане разноцветные камни на стол.

Сравнивая получившийся из камешков узор линий с линиями руки Орлова, она сказала:

— Нет, молодчик, раньше, чем через две недели, тебе нельзя употребить свое средство! Так говорит судьба, и если ты пойдешь против нее, то все откроется!

— Но я уезжаю завтра! — недовольно буркнул граф.

— Так поручи это кому-нибудь другому!

— Нет уж! В этом деле чем меньше сообщников, тем лучше...

— Тогда обожди две недели. Раз судьба указывает этот срок, значит, до этого времени с твоей милочкой ничего не случится.

Орлов на минуту задумался, потом встал со стула и, не прощаясь, направился к выходу, предварительно спрятав две крупинки яда в потайное помещенье

перстца

перестал.

Когда он ушел, из прихожей вышел турок.

— Через две недели? — улыбаясь спросил он по-турецки. Зоя-отравительница вместо ответа принялась смеяться. Строфидас, переведший слова турка Адели, не обратил внимания на то странное ударение, которое делалось на сроке: оно явно изобличало намерение ворожеи скрыться до этого. Но ему было не до того: его мозг лихорадочно работал, комбинируя дальнейшее течение интриги.

XVI

Когда Адель и Строфидас благополучно спустились с чердака и вернулись домой, Строфидас произнес, обращаясь к Адели:

— Итак, вы видите, что действительность блестяще оправдала мои предположения. В настоящее время мы вполне сориентировались и знаем, чего нам держаться. Ранее чем через две недели граф Орлов не возьмется за выполнение своего преступного замысла, а в течение этого времени мы окружим его и маркиза де Суврэ целой сетью слежки. Сейчас же нам нужно вот что: во-первых, необходимо уничтожить прорытый в снегу ход, потому что, не дай Бог, начнет таять, и Зоя обнаружит наши траншеи: ведь она сразу догадается, что ее выследили, и это может испортить нам всю музыку; а

во-вторых, хорошо было бы достать парочку таких же крупинок.

— Ну за это возьмусь уже я! — сказала Адель. — Завтра же вечером крупинки будут в моем распоряжении!

— Вот и отлично! — согласился грек. — Остальное я беру на себя. Послезавтра я зайду к вам, чтобы рассказать, если будет что-нибудь новенькое, и узнать, как удалось ваше предприятие.

«Предприятие» удалось Адели блестяще!

На другой день вечером они с Фельтеном в полумасках направились к гадалке. На вопрос ворожеи, что нужно посетителям, Адель ответила, что она пришла узнать свою судьбу. Ворожея попросила гостью дать левую руку и, разглядывая линии, стала плести обычную чепуху. Как всегда это бывает у гадалок, Зоя-отравительница старалась держаться туманной неопределенности предсказаний; однако это не спасло ее от грубых промахов. Так, она предсказала Адели, что ее муж скоро умрет и что теперешний друг сердца Адели получит большое наследство и женится на ней.

В сущности говоря, это не было большим риском со стороны гадалки: она видела, что спутник посетительницы — человек ей посторонний, и понимала, что девица не рискнет отправиться ночью с посторонним человеком в такую глушь. Ну, а нравы дам высшего круга были таковы, что не надо было особой прозорливости, чтобы угадать у любой из них «друга

сердца».

Тем сильнее было смущение Зои, когда Адель, выслушав все это, громко расхохоталась и сказала:

— Милая моя, вы все врете от начала до конца! Я вижу, что сама гадаю гораздо лучше вас. Ну-ка, дайте мне вашу руку! Адель схватила руку растерявшейся ворожеи, принялась рассматривать ее и воскликнула с отлично разыгранным изумлением: — Что я вижу! Милая моя! Да ведь вы просто наряжены старухой, а на самом деле молоды и красивы! Эге! У вас в прошлом были большие неприятности с полицией, и на вашей совести тяготеет не одно преступление. Ваша специальность — вовсе не гаданье, в котором вы ничего не понимаете, а яды, в которых вы знаете большой толк. Я даже могу сказать вам, как вас зовут! Ваше имя — Зоя!

Зоя-отравительница вырвала руку у Адели, отскочила в угол, затем, сверкая яростным взглядом, кликнула турка и быстро сказала ему несколько слов на непонятном Адели языке. Омер, как его назвала ворожея-отравительница, обнажил кинжал, но Фельтен достал пистолет и внушительно сказал:

— Лучше прикажите своему возлюбленному спрятать эту опасную игрушку и уйти прочь отсюда. — Мне достаточно выстрелить, чтобы трое дюжих и хорошо вооруженных молодцев, дожидаящихся нас за углом, ворвались сюда и разнесли в щепки ваше проклятое гнездо. Не беспокойтесь! Мы знаем, что в

таких милых притонах надо быть начеку, и приняли свои меры предосторожности. Но мы не желаем вам зла, так что вы взволновались совершенно напрасно!

— Чего же вы хотите? — хрипло спросила Зоя.

— Сначала мы хотим, чтобы этот молодчик ушел отсюда. Зоя приказала Омеру уйти, после чего спросила:

— Ну, что же дальше?

— А теперь, — продолжала Адель, — я хочу, чтобы вы дали мне парочку тех же крупинок, которыми угостили вчера одного из посетителей, пожелавшего избавиться от соперника!

— Да что вас сам ад прислал ко мне, что ли? — с изумлением и бешенством крикнула ворожея.

— Ну вот еще! — невозмутимо ответил Фельтен. — Ад терпеливо ждет, когда вы сами пожелаете туда, прелестная Зоя! А мы пришли сами по себе! Однако мы торопимся и очень просим не задерживать нас долее. Так как же? Соблаговолите ли вы наконец преподнести нам желаемую парочку крупинок?

Ворожея не отвечала; она продолжала стоять в углу, озираясь, словно затравленный зверь.

— Я, собственно, не понимаю, чего вы опасаетесь? — продолжал Фельтен. — Если бы мы питали по отношению к вам дурные намерения или имели что-нибудь общее с полицией, то не стали бы выпрашивать у вас какой-нибудь пары крупинок. Мы просто велели

бы арестовать вас и делу конец. Но, как вы видите, мы не проявляем никаких враждебных намерений. И за ваши конфетки мы вам заплатим! Не так щедро, конечно, как заплатил вчерашний посетитель, но все же больше, чем ваши крупинки стоят! — и Фельтен положил на стол несколько золотых монет.

Зоя наконец решилась. Она подошла к сундуку, открыла его, достала ларец и вынула оттуда склянку, но, видимо, с умыслом достала другую.

— Нет, вы ошибаетесь! — сейчас же сказал ей Фельтен. — Мы просим тех же самых крупинок, которые вы отпустили вчерашнему посетителю высокого роста, а те крупинки находятся в высоком узеньком пузырьке с серебряной крышкой. Этот пузырек стоит в левом углу у крышки!

У ворожеи просто руки опустились.

— Вы могли знать меня раньше, могли выследить, что под лохмотьями старухи скрываюсь я, — глухо сказала она. — О крупинках вы могли узнать от вчерашнего гостя, хотя он и говорил, что не станет никого посвящать в эту тайну. Но как вы могли знать, где именно стоит пузырек, это совершенно непонятно! Ручаюсь, что вчерашний гость не видел расположения склянок в ларце!

Говоря это, ворожея пристально смотрела на Фельтена, и он чуть не выдал своего секрета: ему неудержимо хотелось взглянуть наверх, где между

трубой и потолком была щель. Но он вовремя удержался и ответил:

– Вы должны поверить, что мы действительно обладаем большими познаниями в тайных науках!

– Но если вы сами – чародеи, так почему же вы не приготовите яда собственноручно? – недоверчиво спросила Зоя.

– Потому что нам нужен именно ваш препарат, – наугад ответил Фельтен, – а у нас нет под рукой необходимого материала!

Этот ответ попал в цель и окончательно сразил гречанку.

– Да, этого средства в Европе не найдешь, – пробормотала она и уже без всяких отговорок достала требуемый пузырек.

Адель положила две крупинки в принесенную с собой маленькую коробочку и вместе с Фельтеном с триумфом вернулась домой.

Теперь оставалось лишь выждать дальнейших событий. Последние были не за горами.

XVII

Во время припадка, вызванного «любовным эликсиром» Орлова, Катя Королева невольно выдала тайну своего сердца; впрочем, последняя не была новостью для императрицы. Уже давно исполтинка

любовавшейся расцветом этой молодой, чистой любви, а потому, когда Катя поправилась, Екатерина ласково расспросила ее обо всем и дала согласие на их брак с маркизом де Суврэ.

Однако, когда Катя стала просить государыню, чтобы свадьбу сыграли теперь же, еще до Масленицы, Екатерина лишь рассмеялась и замахала на нее руками. Что за пустяки мелет девочка! Разве мыслимое это дело в две недели все справить? Да и непорядок это! Такой спешкой можно подать лишь повод для сплетен и дурных толков! А главное, к чему такая спешка? Неужели Кате трудно подождать каких-нибудь полгода?

Но тут приключилось нечто совершенно неожиданное: услышав про «полгода», Катя ахнула, взмахнула руками и упала в глубоком обмороке.

Девушка опять заболела. Роджерсон разводил руками, не понимая, в чем болезнь бедняжки. Несколько слов, оброненных ею в бреду, заставили доктора подумать, что причиной страдания больной является какое-то затаенное опасение, какой-то тайный страх. Но что именно могло угнетать девушку? Роджерсон понял, что угадать это – значит угадать самую болезнь.

При первом же удобном случае он заговорил с Катей по душам. Девушка чувствовала себя слишком истерзанной, а доктор внушал такое доверие к себе, был так добр и ласков, что она не могла отделаться

молчанием и все открыла врачу. Она рассказала ему о преследованиях и угрозах Орлова, и Роджерсон, знавший характер фаворита, понял, что этот страх был слишком реален, чтобы быть по силам хрупкой душе девушки. Действительно, теперь, когда вопрос о браке Кати был решен, Орлов способен пойти на что угодно, чтобы помешать осуществлению его, а вполне понятное желание императрицы отсрочить свадьбу давало слишком широкий простор его проискам. Безысходность положения девушки увеличивалась еще и тем, что она действительно не могла объяснить причину своих терзаний ни жениху, ни государыне! Бедняжка!..

Роджерсон задумался ненадолго и сказал:

— Вот и хорошо, милая моя девушка, что вы решились признаться мне во всем. Положитесь на меня! Я сумею соблюсти вашу тайну и добиться, чтобы свадьбу сыграли до возвращения этого кровожадного тигра!

Действительно Роджерсон сейчас же отправился к императрице. Он заявил ей, что ему удалось наконец открыть тайну болезни крестницы государыни: все дело в том, что девица Королева принадлежит к числу тех натур, которые не созданы для девичества и должны выходить замуж сейчас же, как только созреют для любви. Наука знает массу случаев, когда девушка впадала в чахотку или сходила с ума из-за невозможности быстро выйти замуж. Такая же участь

грозит и Королевой. Поэтому, если государыня хочет, чтобы ее любимица выздоровела, ей надо сейчас же объявить, что свадьба состоится в ближайшем будущем.

Екатерина была очень удивлена, когда услышала, что ее робкая, бледная Катя оказалась особой с таким темпераментом. Кто бы мог подумать! Но раз это так, было бы преступной глупостью откладывать свадьбу из-за пустых формальностей. Поэтому Екатерина отправилась к своей любимице, чтобы порадовать ее приятным известием.

И она была с лихвой вознаграждена за это! Катя сразу переродилась, порозовела, повеселела. Уже на другой день она веселой пташкой носилась по комнатам. Бедняжка не знала, что государыня известила о радостном торжестве своего любимца и что граф Григорий был приглашен ею приехать на интимный ужин, которым Екатерина хотела чествовать за два дня до свадьбы жениха и невесту!

Зато как съежилась, как побледнела Катя, когда утром в день этого ужина встретилась во дворце с ненавистной ей атлетической фигурой графа!.. Однако Орлов быстро сумел рассеять опасения девушки. Он был так добродушно весел, так внимателен, что Катя начинала думать, уж не сном ли было мрачное ухаживанье графа. Ведь он так искренне поздравлял ее, так радовался, что она нашла настоящего, верного, надежного спутника жизни!

И все же ее сердце болезненно ныло, пока не приехал маркиз. Только увидев, что он был здоров и невредим, только заметив, что и с ним граф Орлов был искренне приветлив, она успокоилась. А тут еще по какому-то поводу государыня припомнила, как Орловы из «пустой проказливости» пугали принца Фридриха, пока тот не сбежал опророметью к себе на родину... Может быть, и в мрачном ухаживанье Орлова сказались все та же пустая проказливость, дикарское удовольствие напугать? Словом, Катя окончательно успокоилась и была оживлена и весела на редкость.

За несколько минут до начала ужина государыня и Орлов оставили общество и прошли в столовую, чтобы положить там подарки под салфетки жениха и невесты. А когда Екатерина на минутку отвернулась, Орлов уронил в бокал маркиза де Суврэ маленький незаметный кристаллик Зои-отравительницы.

И вот началось торжественное веселое шествие в столовую. Впереди шла Екатерина под руку с маркизом де Суврэ, сзади них — Орлов с Катей. Уселись. Послышались радостные «охи» да «ахи» Кати, которая, словно ребенок, радовалась подаркам. От волнения ей захотелось пить, и она попросила жениха налить ей чего-нибудь легкого. По ошибке Суврэ взял бутылку токайского и начал наливать.

— Ах, не то! — испуганно вскрикнула Катя. — Что вы налили! Ровно я могла пить такое же кислое вино?

наделали! Газве я могу пить такое крепкое вино!

— Чего же так пугаться, птичка? — улыбнулся Суврэ. — Эту ошибку легко исправить!

Он взял Катин бокал себе, а ей налил легкого белого вина в свой. Затем они чокнулись. Кроме Одара, всегда все видевшего и за всем втайне наблюдавшего, никто не заметил, как побледнел Орлов. Он даже сделал движение, как бы желая вскочить с места. Но было поздно. С улыбкой бесконечного счастья, с радостно искрящимся взглядом, обращенным на жениха, Катя до половины осушила свой бокал.

И вдруг этот бокал выпал из ее пальцев, покатился по полу, разбиваясь на сотни сверкающих кусочков, а сама Катя тихо сползла со стула. Поднялся невообразимый переполох. Все повскакали со своих мест, кинулись к Кате, подняли ее, перенесли на диван. Только две неподвижные фигуры диссонансом выделялись на фоне этого смятения. Скрестив руки на мощной груди, с демонически радостной скорбью во взоре стоял граф Григорий Орлов и, схватившись за голову, полулежал на столе окаменевший от горя Суврэ. Ни тот, ни другой не шевельнулись и тогда, когда все остальные были оплущены тихим приговором Роджерсона:

— Все кончено, государыня! Наш ангел вернулся к себе на небо!

Екатерина с рыданиями упала на колени около

безжизненного тела Кати, с бледного лица которой все еще не сходила улыбка глубокого счастья. Графиня Брюс, заливаясь крупными слезами, бросилась в оранжерею, откуда вернулась с большой охапкой наспех срезанных цветов, чтобы осыпать ими хрупкую фигурку невесты, отшедшей к небесному Жениху. Орлов под предлогом отдачи каких-то распоряжений вышел из комнаты. Только маркиз де Суврэ продолжал сидеть, охваченный горем. Он так и не очнулся: столбняк перешел в жесточайшую нервную горячку, и несколько месяцев Суврэ был на волосок от смерти. Выздоровев, он уехал во Францию и там принял постриг под именем Жерома. Аристократическое происхождение, образованность, святость жизни и огненное красноречие могли бы быстро вознести его на высшие ступени церковной иерархии, но отец Жером с упорным смирением отказывался от всякого продвижения, и ему даже пришлось два раза съездить в Рим к папе, чтобы просить не трогать его с места настоятеля одного из беднейших приходов Парижа, населенного отчаянной гольтьбой. В этом приходе отец Жером пробыл до 1793 года, когда ни прошлая деятельность проповедника, направленная к осуждению жизни привилегированных классов, ни любовь прихожан не спасли его от эшафота. Он умер пятидесяти трех лет от роду, умер как герой и мученик.

Впрочем, я забегаю вперед: с аббатом Жеромом нам впоследствии еще придется встретиться.

XVIII

«Она отравлена», – шептали придворные, «она отравлена», – говорила высшая знать, и даже среди купцов, солдат и рабочих из уст в уста передавался все тот же слух: «Слыхали? Во дворце-то опять девушку отравили!» Когда же кто-нибудь по наивности спрашивал, кому могла понадобиться эта юная жизнь и кто мог покуситься на такое злое дело, спрашиваемый придворный тонко улыбался, делал неопределенный жест руками и спешил перевести разговор на другую тему. В средних кругах выражались определеннее. «Один ведь у России Мамай!» – сумрачно говорили там. И только «низы» злобно сваливали в одну кучу весь двор, говоря: «Мало ли там дикого зверья? Так и ждут, где бы клочок свежего мяса урвать!» Словом, весь город твердил одно: «Катя Королева умерла не своей смертью, а была отравлена», и с этим слухом хотя и незримо, но все теснее связывалось имя графа Григория. Никто не произносил этого имени вслух, и все же оно звучало все громче и громче.

Хотя под влиянием глубокой скорби императрица Екатерина и замкнулась от всего мира в своих апартаментах, но неведомыми путями и до нее дошли эти слухи. Она вызвала Роджерсона и прямо спросила

его.

Но Роджерсон не мог по совести ответить на него категорически.

— Люди умирают от счастья так же, как и от горя, ваше величество, — ответил он. — Слабое сердце не выдерживает сильного волнения, и его хрупкий аппарат ломается. Но вместе с тем могу сказать, что в природе существует много ядов, не оставляющих в организме видимых следов. Для меня ясно только одно: наш ангел умер от того, что с его сердцем произошла внезапная катастрофа, однако что вызвало эту катастрофу; органическая ли слабость сердечного аппарата или внешняя причина в виде действия ядовитой эссенции, этого я сказать не могу.

— Но ведь вы же лечили ее, вы должны знать ее организм! — нетерпеливо сказала Екатерина. — Разве ее сердце вызывало опасения?

— Нет, ваше величество, — ответил Роджерсон, — хотя покойная была очень хрупкого сложения, но ее сердце мне никогда никаких опасений не внушало. Однако, как врач, считаю долгом совести заметить, что наши знания еще очень несовершенны, и категорически сказать: «Покойная могла умереть только насильственной смертью», — я не имею права.

— Как врач? — мрачно повторила императрица. — Ну, а как... человек?

Роджерсон промолчал.

— Говорите! — нетерпеливо крикнула государыня. — Я хочу знать, как вы сами относитесь к этой смерти!

— Мое глубокое внутреннее убеждение говорит мне, что смерть последовала от отравления неизвестным мне ядом, — тихо сказал врач.

— Но кому же могла понадобиться смерть этой... — Екатерина внезапно замолчала, не договорив фразы, и почти с испугом посмотрела на врача.

Ей вспомнилось вдруг, что Катя переменялась бокалами с женихом. Значит, если тут действительно произошло отравление, то яд предназначался не Кате, а маркизу. Теперь в слухе о насильственной смерти Королевой появлялась уже некоторая вероятность: единственное возражение, отнимавшее у этого слуха правдоподобие: «Кому могла понадобиться смерть Кати?», — совершенно отпадало.

И невольно в памяти государыни стали всплывать отдельные черточки, штришки, сценки, которые прежде казались ей неважными, и из всего этого сплеталась такая ужасная картина, что Екатерина в отчаянии схватилась за голову.

Уже много лет спустя в интимном кружке государыни зашел однажды разговор о самых ужасных моментах в жизни. Екатерина вспомнила тогда смерть Кати Королевой и призналась, что никогда в жизни не переживала минут ужаснее тех, когда ей пришлось усомниться не только в любви и преданности, но даже в

малейшей порядочности самого близкого ей человека.

Теперь несколько минут тянулось томительное молчанье. Наконец государыня глухо сказала:

— Если бы я могла получить хоть какие-нибудь доказательства!..

Она опять замолчала, знаком руки отпустила Роджерсона и, позвонив дежурной фрейлине, приказала сейчас же закладывать экипаж. Вскоре она уже неслась по дороге к Царскому Селу, в тиши которого хотела справиться с обуревавшими ее черными думами.

А в городе слухи об отравлении Кати Королевой не замолкали. Наоборот, из уст в уста передавались такие подробности, которые заставляли только разводить руками. Каким образом могло проникнуть все это в толпу, каким образом секрет, известный ограниченному числу лиц, неспособных проболтаться, вдруг стал достоянием масс? Впрочем, в деле раскрытия преступления всегда играют большую роль слухи и толки, неизменно распространяющиеся из неведомого, таинственного источника и постоянно имеющие в основе немалое зерно истины.

Так и теперь в обществе вполне определенно твердили, что Королева отравлена Орловым по ошибке, что яд, предназначенный маркизу де Суврэ, был получен от старухи-гадалки и что всесильного фаворита выследил оскорбленный им некогда враг, в руках которого имеются все улики по этому делу.

которого никому не было известно по этому делу.

Как только эти слухи появились, Адель очень встревожилась: весь успех ее обвинения мог покоиться лишь на неожиданности удара, нанесенного Орлову, а между тем эти слухи могли заставить его принять свои меры, тогда как к самой государыне все не было доступа.

Ночью явился Строфидас. Он пришел не через дверь, а совершил трудное обходное путешествие через пустыри и заборы, и сказал Адели:

— Я пришел, чтобы предупредить вас: или действуйте сейчас, или откажитесь от своей мести. Граф уже предупрежден обо всем, его люди проследили весь ход наших розысков. И берегитесь! Не выходите из дома с наступлением темноты одна!

Он сказал это и исчез тем же таинственным путем. Адель тут же решила, приказала разбудить ее в шесть часов утра и приготовить Фюрибонд — огневую скаковую лошадь.

В седьмом часу утра она выехала из дома и направилась в Царское Село. Выехав за заставу, она пустила лошадь бешеным карьером. Накануне таяло, теперь был легкий морозец. Фюрибонд не раз поскальзывалась, и Адели сплошь да рядом грозило опасное падение. Но у нее на карте стояло нечто большее, чем жизнь: удовлетворение женской мстительности! И каждый раз, когда Фюрибонд, поскальзываясь, замедляла шаг, Адель отвечала ей на это

резким ударом хлыста, что заставляло не переносившую плети лошадь взвизгивать на дыбы и затем бросаться в пространство с яростной быстротой, вполне оправдывавшей кличку^[17].

Наконец вдали показалось Царское Село. Фюрибонд, видимо, теряла силы; она храпела, ее спина порою конвульсивно вздрагивала; но Адель все энергичнее погоняла ее. Она убедилась, что Орловы уже приняли свои меры, что доступ к государыне охраняется и что ее торжество может быть достигнуто лишь бесшабашной стремительностью и натиском.

Почти у самого Царского она увидела на дороге двух конных солдат. Заметив всадницу, они встали посередине дороги, видимо, собираясь задержать Адель. Но она только подхлестнула лошадь и направила Фюрибонд прямо на стражу, так что лошади тех невольно шарахнулись в сторону, пропуская вихрем пролетевшую всадницу.

Теперь Адель направилась прямо в парк. Она знала, что государыня любила по утрам совершать одинокие прогулки, и, чем хуже было на душе у государыни, тем продолжительнее бывали эти прогулки; знала она также и любимые места Екатерины.

Подъезжая на всем скаку к парку, Адель увидела, что невысокие ворота закрыты, у калитки стоит часовой, а немного в стороне молодой офицерик со скучающим видом осматривается по сторонам. Раздумывать было

некогда. Адель ударила лошадь хлыстом, и Фюрибонд птицей перемахнула через ворота. Адель понеслась по довольно широкой аллее. Сзади нее слышались крики, сигналы, однако она, не обращая на это внимания, неслась вперед. Из боковой аллеи выбежал какой-то толстый офицер и испуганно замахал руками на всадницу, но Адель проехала, чуть не растоптав его. Послышались выстрелы. Одна пуля попала в ствол дерева и осыпала Адель мелкими брызгами коры. Другая пролетела совсем близко и оторвала у лошади кусочек уха. Адель все неслась и неслась вперед, с отчаянием нахлестывая лошадь.

Но вот за крутым поворотом показалась другая аллея, и Адель въехала туда. Вдали виднелось какое-то светлое пятно. Через минуту Адель уже видела, что навстречу ей идет императрица, одетая в легкую светлую шубку. Подъезжая еще ближе, Адель рассмотрела, что лицо государыни выражало удивление и легкую тревогу. Шум, выстрелы, всадник, несущийся во весь опор, были весьма понятной причиной этому.

Шагах в двадцати от государыни Фюрибонд резко замедлила шаги, потом остановилась и, как сноп, рухнула на землю. Адель еле-еле успела соскочить с седла на землю. Фюрибонд погибла, но зато цель была достигнута!

Адель сделала еще несколько шагов вперед и упала на колени, простирая к государыне руки.

на колени, простирая к государыне руки.

— Что такое? В чем дело? Что случилось? — удивленно крикнула Екатерина, ускоряя шаг почти до бега. — Как? Это вы, Гюс? Зачем вы здесь? Что вас привело?

— Ваше величество! Правосудия! — задыхаясь, крикнула Адель и схватилась за сердце: она боялась, что вот-вот упадет в обморок.

— Боже мой, да что случилось? — тревожно спросила Екатерина, подбегая к Адели и поднимая ее с колен. — Ну, ну, успокойтесь, и тогда вы мне все расскажете! Не бойтесь, императрица Екатерина Вторая еще никогда никому не отказывала в правосудии, кто бы ни был обиженный, как бы высоко ни стоял обидчик. Ну, ну, не волнуйтесь! Пойдемте-ка вот сюда, на скамейку! Ишь ты какая смелая всадница!.., даже лошадь загнала! — Императрица подвела Адель к скамейке, усадила ее и спросила: — Ну, если вы перевели дух, то, может быть, вы удовлетворите мое любопытство и скажете мне, что вас привело сюда, ко мне?

— Ваше величество! — ответила Адель, — умоляю лишь о том, чтобы вы выслушали меня до конца! Я прискакала сюда, несмотря на массу препятствий, чтобы открыть вашему величеству возмутительнейшее преступление, жертвой которого стала несчастная Екатерина Королева!

Императрица побледнела и схватилась рукой за

сердце. Екатерина ведь так страстно хотела, чтобы угнетавшее ее подозрение падавшее на Орлова, не оправдалось. На мгновенье в ней даже шевельнулось желание прикрикнуть на Адель, не дать ей говорить, приказать немедленно выехать из России... Но тут же перед нею пронесся образ Кати. Вот она привязывает котенку бумажку на хвост и смеется с детской радостью, когда котенок начинает кидаться по комнате и пытаться поймать собственный хвост. Вот она со слезами смущения признается своей царственной крестной в любви к маркизу де Суврэ. Вот она с улыбкой бесконечного счастья выпивает свой бокал и затем клонится долу, словно подрезанная былинка. Нет, нет! Нельзя оставить неотомщенным, ненаказанным это зверское преступление! Но Орлов... этот колосс, вознесенный ею на самую большую высоту, ее рыцарь, друг, первый советник, опора! Неужели предоставить возможность доказать с беспощадной ясностью, что она всегда ошибалась в нем, что он никогда не заслуживал ее доверия? Да и может ли она судить его так же, как и всех прочих людей? Ведь у Орлова нетронутая, первобытная натура, широкий нрав, сильные, вулканические страсти...

И вдруг, словно в ответ на эту мысль, Екатерине вспомнилась фраза, которую она лишь вчера вечером занесла в свою тетрадь: «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же

законам»^[18]. И эта фраза решила исход сомнений, которые впоследствии сама Екатерина называла друзьям «кратчайшими и мучительнейшими» в своей жизни.

— Гюс! — сказала она. — Подумайте лучше: может быть, вам не продолжать далее? Вы еще ничего не сказали, и если откажетесь от дальнейших разоблачений, то я сделаю вид, что не слыхала начала. Вы отдохнете, затем я прикажу дать вам лошадь, и вы мирно вернетесь в Петербург. Если же вы все-таки хотите продолжать, я выслушаю вас. Но помните одно: я считаю клеветой всякое обвинение, недоказанное прямыми уликами и показаниями неопороченных свидетелей. Мало того: клевету я считаю одним из тягчайших преступлений! И если вы не имеете доказательств того, что хотите раскрыть передо мной, если несмотря на это вы все-таки решитесь называть имена и приписывать им темные деянья — берегитесь: я покараю вас тем строже, что вы предупреждены мною! Ну, так как же?

— Ваше величество, — твердо ответила Адель, — я имею в своем распоряжении необходимые улики и необходимых свидетелей.

— Хорошо! — мрачно сказала государыня. — Вы предупреждены, остальное ваше дело! Итак, вы сказали, что моя крестница стала жертвой возмутительного преступления. В чем же оно и кто совершил его?

— Преступление совершил граф Григорий Орлов, подожгший яд в тот стакан из которого пил

положивший яд в тот стакан, из которого пила Королева.

— Почему же графу Орлову понадобилась смерть этой безобидной девушки?

— Яд предназначался маркизу де Суврэ, но последний нечаянно обменялся бокалами с невестой. Граф Орлов преследовал Королеву признаниями в...

— Нет уж, дальнейшую мотивировку вы пока оставьте! Сначала потрудитесь изложить, в чем заключаются ваши улики и кто ваши свидетели!

В этот момент сзади скамейки в засыпанных снегом кустах послышался кашель, затем ветви зашуршали, и, обернувшись, Екатерина заметила чью-то быстро удалявшуюся тень.

Императрица вспыхнула.

— Нас подслушивали! — сказала она. — Невольный кашель выдал шпиона, и он скрылся бегством! Значит, даром мне все время казалось, что я окружена тайным надзором!

В этот момент с другой стороны аллеи показался тот самый толстый офицер, которого Адель чуть не растоптала. Он, видимо, искал ее на других аллеях и теперь остановился в нерешительности, увидев, что смелая всадница спокойно сидит рядом с государыней.

Екатерина подозвала его и сказала:

— Полковник, вы плохо блюдете охрану парка! Здесь шныряют какие-то темные личности, подслушивающие

из-за кустов, что говорит сама государыня! Это недопустимо, и чтобы больше этого не было! Помните: если это повторится, вам не спрятаться от меня ни за чью широкую спину!

Полковник густо покраснел: намек был слишком ясен.

— А теперь потрудитесь распорядиться, чтобы мне сейчас же положили возок... Или дорога, должно быть, очень плохая? Ну, так карету! Но, главное, поскорее! Ступайте! Пойдемте потихоньку к дому! — обратилась она к Адели.

Они пошли по аллее, держась самой середины, и Адель стала вполголоса рассказывать государыне по дороге о том, как она выследила Орлова.

— Итак, ваше величество, — закончила она, — моя главная улика заключается в двух крупинках яда, того же самого, который употребил граф Григорий. Я уверена, что вторая крупинка все еще находится в перстне на руке у графа, но даже если граф успел отделаться от нее, можно исследовать действие представленных мною крупинок, и оно окажется точь-в-точь таким же, какое сказалось на несчастной Королевой. Что касается свидетелей, то самые ценные показания могут дать грек Строфидас и Зоя-отравительница. Конечно, добровольно они не дадут показаний, но если припугнуть их, то в конце концов они откроют все. А главным свидетелем остается Фельтен, бывший всюду

вместе со мной.

— Хорошо! — мрачно ответила Екатерина. — Мы все это разберем. Сейчас нам заложат карету, и вы поедете со мной.

XIX

Для меня совершенно ясно, что Орловы были готовы грудью встретить подстерегавшую их беду, что для этого за каждым шагом государыни следили, для этого шпион подслушал ее разговор с обвинительницей и для этого с закладкой кареты возились крайне долго. Даже больше: я уверен, что поломка оси, случившаяся на полпути к Петербургу и задержавшая государыню почти на целый час, была умышленно подстроена. Еще бы! Надо было выгадать время и дать возможность Орловым еще до приезда государыни в Петербург принять свои заранее обдуманнные и подготовленные меры. Впрочем, и без того это время удлиннялось тем, что верховой на хорошей лошади мог доехать до Петербурга в полтора часа, а при плохом состоянии дороги карете нужно было почти три часа. Таким образом Орловы могли иметь уже в девять часов утра известие, что в Царское прискакала Гюс, а в начале десятого второй всадник мог сообщить им, что Гюс действительно обвинила графа Григория в совершенном преступлении. Государыня прибыла в Петербург лишь после часа. Четыре часа — достаточное

постеруги лишь после часа. Четыре часа — достаточно
время, особенно когда кое-что сделано еще накануне.

Приехав во дворец, Екатерина приказала позвать полковника Вельяминова, старого, честного служаку, не гораздого на поклоны и придворное угодничество, но зато слепо повиновавшегося каждому приказанию государыни.

— Полковник, — сказала ему императрица, — возьмите роту дворцовых гренадеров и исполните следующее мое приказанье, ни под каким видом не отступая от моих инструкций ни на волосок. Отправляйтесь на Фуршгадтскую, в переулок... Впрочем, подробный адрес вам даст вот эта дама. Вы найдете там старый домик, в котором живет гадалка-ворожея. Оцепите дом гренадерами, арестуйте гадалку и ее слугу. Несколько гренадеров оставьте там и прикажите, чтобы до моего приказа никто не смел входить в дом. Да чтобы там все оставалось на месте! Затем отправляйтесь к полицеймейстеру, узнайте у него, где живет грек Строфидас, арестуйте этого грека и на его квартире тоже оставьте гренадеров. Затем отправляйтесь к майору Фельтену и привезите его во дворец, куда прикажите доставить и других арестованных. На квартире Фельтена оставьте двух гренадеров. Помните, что в помещение для всех арестованных никто посторонний не должен входить, что арестованные не должны сообщаться между собой и что им нельзя

позволить оставаться хотя бы минуту без надзора после ареста. Внушите солдатам, что всякий, кто попытается словами или знаками вступить в общение с арестованными, должен быть тоже арестован. Если кто-нибудь из солдат отступит от соблюдения этого во всей строгости, то будет расстрелян!

Адель подробно объяснила полковнику, где находится дом гадалки, и Вельяминов ушел.

Тогда государыня приказала позвать своего лейб-медика.

— Роджерсон, — сказала она ему, — вот эта дама заявляет, что Катя умерла от отравы и что крупинки, имеющиеся у нее, представляют собой тот самый яд, который сгубил бедную девочку. Вот они, эти крупинки. Считаете ли вы возможным, чтобы такое незначительное количество яда причинило такую мгновенную смерть?

Роджерсон взял в руки коробочку, внимательно посмотрел на крупинки и сказал:

— Действие яда лучше всего испытать на животном. У вашего величества есть безнадежно больная собака Джипси, отравить которую было бы благодеянием. Не разрешите ли вы, ваше величество, произвести опыт на Джипси?

Екатерина ненадолго задумалась, а потом ответила:

— Мне очень жаль бедную старенькую Джипси, но ей действительно жизнь — лишь мучение. Хорошо! Пусть

приведут Джипси.

Старой, еле волочившей ноги собаке дали молока, куда бросили одну из крупинок. Джипси раза три-четыре лизнула молоко и вдруг упала. Доктор пощупал у нее сердце – оно не билось.

– Собака мертва, ваше величество, – сказал Роджерсон. – Картина смерти совершенно одинакова; обратите внимание, ваше величество: ни конвульсий, ни стона... О, это – ужасный яд!

– Благодарю вас, Роджерсон, – сказала императрица, силой воли подавляя волнение. – Вы можете идти.

Она приказала убрать труп Джипси и позвать графа Григория.

Орлов вскоре появился. Он выказал себя недурным актером, так как держался совершенно спокойно и при виде Адели проявил лишь удивление.

– Граф Григорий Орлов! – торжественно сказала императрица. – Против вас возведено тяжкое обвинение, в котором от души желаю вам оправдаться. Госпожа Гюс обвиняет вас в том, что вы подсыпали яда в бокал маркиза де Суврэ, что послужило причиной смерти его невесты, взявшей этот бокал. В подтверждение своего обвинения госпожа Гюс приводит улики и свидетелей. Что вы можете сказать по этому поводу?

Орлов улыбнулся, слегка пожал плечами и

спокойно ответил:

— Но, ваше величество, мне нечего сказать. Обвинение слишком фантастично, чтобы принимать его всерьез. Кто же — те свидетели, которые видели, как я сыпал яд в бокал маркиза де Суврэ?

— Госпожа Гюс, назовите графу имена ваших свидетелей и сообщите в общих чертах, что и о чем может свидетельствовать каждый из них.

— Никто не видел, как вы сыпали яд, граф, — ответила Адель, — но многие видели, как вы покупали его, а только что было проверено, как действие купленного вами яда произвело совершенно такую же смерть, какой умерла несчастная Королева. Этими свидетелями явятся следующие лица: во-первых, ворожея, у которой вы покупали яд...

— Никогда в жизни я ни к какой ворожее не обращался!

— Затем двое лиц, бывших со мной на чердаке дома ворожеи в тот момент, когда она отпускала вам яд. Этими лицами является грек Строфидас...

— Ваше величество, наверное, вы помните этого Строфидаса? Он служил нам в памятном шестьдесят втором году, продал нас Воронцовой, чем чуть не погубил нашего дела. Я тогда сильно проучил его, и он должен быть очень зол на меня. Свидетель из достоверных!

— Вторым лицом, бывшим со мною на чердаке, был майор Фельтен.

— Фельтен? Ну, это — свидетель покрупнее, чем какой-нибудь прохвост-сыщик! Но только не ошибаетесь ли вы? Все-таки Фельтен — офицер и дворянин, и от него трудно ждать, чтобы он решился заведомо лгать в глаза матушке-царице! Хотя, конечно, чего не бывает! Чары любви сильны, и безумие страсти уже не одного Самсона сбивало с пути праведного.

— Между мной и Фельтеном никогда ничего не было, кроме самой чистой дружбы! — воскликнула с негодованием Адель.

— Не смею оспаривать, — учтиво ответил Орлов. — Значит, меня генерал Астапов подвел! Недавно я попал к нему, ваше величество, как раз в тот момент, когда он кончал «мыть голову» майору Фельтену. Я спросил, за что он его так. «Да никакого сладу с человеком не стало! — с досадой ответил мне генерал. — С тех пор как Фельтен спутался с этой Гюс, он совсем службу забросил: постоянно манкирует, а и придет на службу — толка нет, так как его мысли Бог ведет где витают. Да и пойдет ли служба на ум, когда он каждую ночь, чуть ли не до утра, все у своей француженки сидит?».

Екатерина искоса посмотрела на Адель. Действительно, от слов графа Орлова на свидетелей еще до их показаний легла густая тень.

А Орлов все с тем же беззаботным видом

продолжал:

— Но это, вероятно, еще не все свидетели? Наверное, в ваших путешествиях по крышам и чердакам принимал участие и маркиз де Бьевр?

— Нет, — ответила Адель, — я не вмешала Бьевра в эту историю!

— Жаль! — сказал Орлов, иронически улыбаясь. — Это был бы самый крупный, самый достоверный свидетель! Маркиз де Бьевр имеет очень большой вес в глазах ее величества, и его-то как раз вы и не ставите свидетелем! Жаль!

— В самом деле, — резко заметила Екатерина, — как это могло случиться, что самый близкий вам человек, да еще живущий с вами под одной кровлей, вдруг ничего не знает о таком деле, не принимает участия в ваших похождениях?

— Вот именно потому, что он мне так близок и живет со мной под одной кровлей! — ответила Адель. — Я боялась, что из-за этого его свидетельским показаниям не будет никакой цены.

— И совершенно напрасно боялись, — холодно ответила Екатерина. — Маркиз де Бьевр не из тех людей, которым можно не поверить только потому, что он защищает интересы близкого ему лица!

Вспоминая потом эти слова императрицы, Адель говорила, что она никак не может простить себе непоправимого ротозейства, которое она допустила, не

попросив государыню вызвать меня, чтобы допросить о моем разговоре с Катей Королевой на эрмитажном собрании. Раз государыня действительно так верила мне, она поверила бы правдивости преследований, перенесенных покойницей от графа Григория, а это и перетянуло бы в решительный момент чашу доводов на сторону виновности Орлова, да и было бы в глазах государыни самостоятельной крупной виной, способной значительно поколебать положение фаворита.

Но ведь это старая истина, что хорошие мысли зачастую приходят слишком поздно. В тот момент Адель не воспользовалась этим веским орудием обвинения, а вскоре ей было уже не до того, чтобы что-нибудь соображать: слишком оглушительны оказались результаты похода Вельяминова за свидетелями.

— Ну, привели? — спросила его Екатерина, когда в дверях показалась коренастая, приземистая фигура полковника.

— Никак нет, ваше императорское величество! — ответил тот.

— Но почему же?

— Дозвольте доложить все по порядку?

— Говорите!

— Полицеймейстер заявил мне, что, по сведениям полиции, грек Строфидас выбыл из Петербурга около года тому назад и больше не появлялся. Это известно

полицеймейстеру потому, что Строфидас нередко оказывал полиции частные услуги, так как славился как опытный и умелый сыщик. Еще недавно — месяца полтора тому назад — его опять искали, но его в Петербурге не оказалось.

— Но он был у меня еще вчера ночью! — растерянно крикнула Адель.

— Кто это может подтвердить? — спросила Екатерина.

— Да все — слуги, Бьевр, которому вы так верите, Фельтен...

— Простите, — вмешался Орлов, — разве ваши слуги и маркиз де Бьевр знали Строфидаса в лицо? Иначе говоря, могут ли они подтвердить, что лицо, которое было у вас вчера, которое у вас вообще бывало, было именно Строфидасом?

— Нет, — растерянно ответила Адель, — Строфидаса в лицо знал только майор Фельтен, который и привел его ко мне.

— А Фельтен? — сказала императрица. — Ну что же мы его спросим! Но вы сказали, полковник, что не привели никого? Что же помешало вам привести Фельтена?

— Смерть, ваше императорское величество! — ответил Вельяминов.

— Как! Он умер?

— Майор Фельтен покончил с собой. Слуги сказали

мне, что майор с вечера заперся в кабинете и не велел себя беспокоить. Я постучал в кабинет, мне никто не ответил. Тогда я приказал взломать дверь. В кресле у стола сидел майор с простреленной головой. Его правая рука свесилась на пол, на котором валялся разряженный пистолет, а левая рука лежала на столе, на книге.

— И он не оставил никакой записки? Никаких объяснений?

— Нет, ваше величество! Только в книге, лежавшей перед покойным, оказалась густо подчеркнутой одна строка, которую можно принять за предсмертную записку. Я не помню дословно этой фразы, но ее значение таково, что лучше, дескать, позорная смерть, чем ложь, унижающая честь!

— Мир его душе! — сказал Орлов. — Я был уверен, что Фельтен не решится лгать в глаза матушке-царице!

— Этого не может быть! — крикнула Адель, чувствовавшая, что земля уходит у нее из-под ног. — Фельтена убили, он не сам покончил с собой!

— Вельяминов, позовите Роджерсона! — приказала императрица и, когда врач пришел, сказала ему следующее: — Доктор, отправляйтесь сейчас же на квартиру майора Фельтена. Его застали мертвым в обстановке, указывающей на самоубийство. Попытайтесь установить, действительно ли здесь произошло самоубийство или можно предположить, что майора убили. Вельяминов, пошлите с Роджерсоном

гренадера; пусть скажет часовым, которых вы там оставили, что доктор идет в квартиру покойного по моему распоряжению!

Вельяминов, исполнив приказание государыни, вернулся.

— Ну, а гадалка? — нетерпеливо спросила его Екатерина.

— Я не нашел никакой гадалки, ваше величество. Когда я подошел к дому, описанному мне госпожой Гюс, я застал его пустым. Будочник, будка которого находится неподалеку, решительно заявил мне, что в этой лачуге никто уже давно не живет. Я проник в заколоченный дом. Действительно внутри у него такой вид, что похоже, будто там уже давно не живут!

— Но этого не может быть! Вы не туда попали! — крикнула Адель, хватаясь за спинку ближнего стула, чтобы не упасть.

— Я и сам так подумал, — ответил Вельяминов. — Для этого я осмотрел всю местность, но нигде не нашел ничего похожего на этот дом. Кроме того я вспомнил, что вы говорили, будто этот дом примыкает к вашему. Я проверил и убедился, что эта лачуга единственная, которая по ситуации подходит под ваше описание!

— Хорошо, вы можете идти, полковник. Благодарю вас! — сказала императрица. — Свидетелей нет, Гюс! — сказала она, обращаясь к бледной Адели.

Та молчала

— Еще одно слово, граф! — продолжала Екатерина, обращаясь к Орлову: — Подойдите ко мне! Ближе! Протяните правую руку! Так! Теперь скажите, что это у вас за перстень и что находится в отверстии, имеющемся под камнем?

— Здесь у меня одно лекарственное снадобье, ваше величество, — ответил Орлов, открывая перстень и показывая лежавшие там белые крупинки.

— Снадобье? — переспросила государыня. — А от чего оно излечивает? Уж не от жизни ли?

— Вы думаете, что это — яд, ваше величество? — с величайшим изумлением сказал Орлов. — Господи! Это — самое невинное средство, которое изобрел мой врачик Рейхталь против сердцебиения! — и, сказав это, Орлов спокойно взял одну из крупинок и проглотил ее.

Вскоре пришел Роджерсон. Он заявил, что убийство возможно, но не бесспорно. Самоубийство можно предположить с таким же вероятием, как и убийство. Поза покойного кажется искусственной, но категорически утверждать, что майора сначала убили, а потом посадили в определенную позу, в которой и дали труп застыть, — нельзя. Это только возможно, но не очевидно.

Екатерина знаком руки отпустила Роджерсона и глубоко задумалась. Наступила минута томительного,

жуткого молчания. Когда императрица вновь подняла голову, страшно становилось при виде ее осунувшегося, постаревшего лица, ее померкшего взора.

— Граф Григорий Орлов! — медленно, торжественно сказала она. — Ничто не подтвердило вескости взведенного на вас обвинения, но в этом деле слишком много странных, необъяснимых совпадений. Лишь один Небесный Судия может разобраться в таком сложном деле, я же — человек, и, не имея возможности проникнуть в сокровенное сердце, могу лишь судить по внешним признакам. Данных для обвинения нет, но... нет и полного оправдания. Во всяком случае я считаю полезным, чтобы вы на некоторое время покинули Петербург, пока не уляжется волнение, поднятое темными слухами. Вы сегодня же вернетесь обратно в Новгород и останетесь там до тех пор, пока моя воля не призовет вас сюда. В Новгороде много работы. Постарайтесь разобраться в тамошних темных делах лучше, чем это удалось сделать мне сегодня в этом таинственном деле!

Орлов низко поклонился.

Екатерина опять замолчала.

— Госпожа Гюс! — сказала она потом. — Я грозила вам строгой карой, если ваше обвинение не подтвердится. Но я не буду карать вас. Я верю, что так лгать, как вы говорили мне сегодня, нельзя. Я верю, что вы сами считаете свои слова правдой, что вы не имели

в виду обмануть меня, а ведь карать можно лишь злую волю... Как знать! Быть может, вы стали жертвой тяжелого сна, принятого вами за действительность. Быть может, жажда мести, злобные чувства к графу Орлову породили в вашей душе безумие, и все рассказанное вами навеяно призраками больного мозга... А может быть, и... Но все равно! Обвинение не подтвердилось, Гюс, доказательств нет! Между тем это обвинение придавило мою душу тяжелым кошмаром! И вам тоже надо уехать, Гюс, иначе ваше присутствие будет вечно угнетать меня и не даст мне успокоиться. Я даю вам отпуск на два года. Завтра вы получите жалованье за год, жалованье за следующий год вы получите через наше посольство в Париже. Но чтобы завтра к вечеру вы уже выехали из Петербурга! Если спешность отъезда вовлечет вас в убытки, подсчитайте их и подайте счет: я распоряжусь, чтобы вам уплатили все вместе с жалованьем. А теперь ступайте и, не теряя времени, принимайтесь за сборы: послезавтрашнее утро не должно застать вас в моей столице!

Адель поклонилась императрице и, пошатываясь, вышла из комнаты.

XX

Я был крайне поражен, когда Адель, вернувшись домой с безжизненным спокойствием рассказала мне о

демон, с болезненным спокойствием рассказывал мне о результатах своей поездки в Царское. Меня охватил ужас при мысли, сколько преступлений роилось вокруг этого блестящего трона.

«Бедная Екатерина! Бедная мудрая императрица! Бедная Семирамида севера! — думал я. — Весь твой ум, величие души, желание добра — все разлетается в прах, разбиваясь о клубок темных хищных страстей несчастливо приближенных тобой людей. И эти люди способны превратить в ничто все твои благие начинания, все твои широкие замыслы! Поможет ли тебе судьба сбросить их иго или силы ада будут по-прежнему покровительствовать высокопоставленным негодяям? Бедная, бедная Россия! Судьба послала тебе государыню, которая способна возвести тебя на величайшую высоту, но хищники-паразиты, гнездящиеся в складках ее царственной мантии, разрушают и подтачивают тебя! Смердной стеной стали они между государем и народом! И затемняет эта стена народу светлое чело мудрой царицы, и бессильна разглядеть царица из-за этой стены свой народ... Бедная Семирамида севера! Бедная Россия!

Но вскоре я оторвался от этих соболезующих чуждой мне стране дум: меня не на шутку стала тревожить Адель. Она ходила, словно неживая, и тон голоса, которым она отдавала распоряжения, был сух и холоден, словно стук заколачиваемого гроба.

За обедом она была молчалива, мало ела, но много пила.

– Знаешь, братишка, – сказала она мне в конце обеда, – ведь я давала Богу, которому ты так веришь, клятвенный обет, что я исправлюсь и буду вести чистую жизнь, если Он поможет мне нанести проклятому Орлову решительный удар. Ты видишь, в каком я положении... Ну что ж, не удалась Адель-праведница, так пусть весь мир кричит об Адели-развратнице! Берегитесь, люди! Вы не жалели меня, теперь уже и я вас не пожалею! Да здравствует разнузданность, да здравствует грех! Шире дорогу радостям жизни – какой бы ценой они ни доставались!

Она высоко взметнула бокал с крепким вином, допила его до последней капли и затем с силой хлопнула об пол, рассмеявшись тяжелым, сухим, неживым смехом. Затем, положив голову на руки, она заплакала, кусая себе пальцы.

А на следующий день к вечеру мы уже мчались из кошмарного Петербурга.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Пир во время чумы

Помните ли, как в «Декамероне» Боккаччо рассказывается о происхождении новелл, вошедших в состав книги? В Италии свирепствовала чума, люди валились, как мухи осенью, и всеми умами овладела паника. Тогда несколько беззаботных парочек удалились в имение и образовали там веселое сообщество, главной целью которого было прогнать от себя мысль о возможности страшного конца. На лоне природы они предались веселью, забавам, песням и любви. Где-то близко от них смерть справляла свой страшный праздник жатвы, один за другим валились посиневшие, раздувшиеся трупы, воздух оглашался стонами и проклятиями, а беззаботное общество продолжало ничего не замечать, забавляясь рассказыванием побасенок и шутливых сказочек. Сплошным радостным пиром, веселой пляской наслажденья текла их жизнь!

Мне невольно вспомнилось это, когда по возвращении в Париж я огляделся на странные формы, в которые теперь вылилась парижская жизнь. Париж всегда жил весело, и высший класс никогда не отказывал себе в развлечениях. Но теперь в этом шумливом веселье чувствовались какая-то судорожность, какая-то отчаянность, даже принужденность, пожалуй! Так и казалось, что могущественный чародей махнул над Парижем волшебной палочкой, и все завертелось в подневольном, одностороннем движении.

сладострастным кружении...

Да, это был пир во время чумы! Народ стонал под непосильным ярмом, исходил кровавым потом на работе, умирал от голода и нищеты. Дворянство было поголовно разорено, но беззаботно рубило последнюю ветку, на которой оно еще держалось. Трон шатался под напором закипавшего народного бешенства, корона еле держалась на истасканном челе обезумевшего короля-сладострастника, а королевский скипетр превратился в погремушку венценосного шута. Не было больше королевского престижа, обаяния имени «монарх». Права превратились в лишенную обязанностей синектуру, обязанности, честь, долг — в лишние слова, власть — в произвол, закон — в насмешку над справедливостью. И по ночам казалось, будто над Парижем огненной надписью сверкает завещанное покойной маркизой де Помпадур мудрое жизненное правило:

«После нас — хоть потоп!»

Париж бешено кружился у самого края бездны — именно кружился, потому что парижан охватила какая-то мания танца. На каждом шагу открывались «танцульки», где смешивались самые разнообразные слои общества: сюда в погоне за новыми ощущениями бежала представительница старых аристократических родов и спешила гризеточка из Латинского квартала, а приближенный короля всегда мог встретиться здесь со

своим конюхом или камердинером. Разумеется, бывали такие учреждения, куда нижний слой почти не мог проникнуть, но таких, куда не проникала аристократия, не было!

Соответственно всему этому резко изменился и сам характер танца. Прежнюю благородную плавность сменила разнузданная порывистость, на смену грациозным движениям прошлого пришли грубые, зачастую неприличные прыжки и скачки. Танец уже не служил выразителем заложенного в природе человека благородного чувства, ритма и гармонии; он отражал снедавнее парижан торжище плотских страстей!

И это безумное кружение, этот отчаянный разгул представляли собой какой-то вихрь, водоворот, который сразу засасывал и увлекал. Самые благоразумные люди сплошь да рядом теряли голову и отдавались оглушающему потоку, закрывая глаза на действительность. Жизнь и честь обесценились до степени мелкой разменной монеты, съестные припасы и предметы первой необходимости возросли до ужасающей дороговизны. Создались условия, при которых не мог жить в элементарном довольстве не только простой рабочий, но даже средний обыватель. Хлеб ценился чуть не на вес золота, а золото слепо разбрасывалось пригоршнями, куда попало. Говядина стала предметом роскоши, человеческое мясо не стоило ничего. Каждый день на улицах подбирали трупы

зарезанных и ограбленных; убийства из-за пустяка, из-за неловкого слова, из-за кособокого взгляда, из-за разницы во мнениях происходили на каждом шагу. Не стало честных женщин, верных жен, мечтательных девушек – все продавалось, все имело свою цену на рынке безумных вождельцев, и все приносилось в жертву на алтарь нужды и жажды роскоши. Если же и встречалась кое-где в виде редкого анахронизма добродетель, то она ходила в рубище, была источена голодом и болезнями. Зато сытые, хмельные, разодетые развратницы стремительным каскадом рассыпали вокруг себя золотой дождь.

А по смрадному трупу разлагающейся монархической Франции жадно шныряли хищные, прожорливые шакалы из «третьего сословия». Буржуям, вытягивавшим соки и из народа, и из нерасчетливого, промотавшегося дворянства, было привольно на этом кладбище; действительно большинство крупных мещанских состояний, большинство поколений финансово-мещанской аристократии имеют корни в эпохе Людовика XV, Людовика Возлюбленного, как, не сознавая адской иронии этого эпитета, прозвали короля льстивые придворные.

Вот какова была атмосфера, которую мы встретили в Париже по возвращении из России. Надо ли удивляться тому, что, оглядевшись по сторонам и вложив в себя этот запах тления, Адель оживилась ее

вдохнув в себя этот запах плоти, Адель оживилась, ее глаза засверкали, а ноздри широко раздулись? Могильный цветок, вскормившийся на соках разложения, еще пышнее распустился, почувствовав под собой родную, жирную почву.

II

Я был бы в крайне затруднительном положении, если бы мне пришлось подробно описывать этот период нашей жизни в Париже. Ведь Адель с первого дня зажила той самой бесшабашной жизнью, которую я охарактеризовал в прошлой главе. Эта жизнь была полна неожиданностей, подобна вихрю своей стремительностью, вечной сменой впечатлений. Но это разнообразие было чисто внешним, а по существу вечно повторялось одно и то же. Пусть сегодня наибольшей милостью у Адели пользовался де Сартин, а завтра — князь Голицын, — все равно эта милость обуславливалась той суммой, которую я заносил на приход в кассовую книгу. Пусть сегодня танцевали где-нибудь на Монмартре, а завтра устраивали блестящий бал в кафе Фуа — схема увеселений оставалась одной и той же. Пусть общество, в котором вращалась Адель, отличалось крайней пестротой, и от родовитых аристократов Адель переходила к зазнавшимся богачам-мещанам, а от них — к кружку аристократов ума, — все

равно: везде ее окружали одно и то же шумное беспутство, один и тот же знойный вихрь страстей.

Самые странные неожиданности того времени настолько носили на себе отпечаток характерной спутанности понятий, что это объединяло и равняло между собой явления самого различного порядка. Конечно, с первого взгляда может показаться весьма замечательным тот факт, что Луи Каракьоли, человек немолодой, родовитый и ученый, вздумал предложить Адели руку и сердце, а она отказала ему под тем предлогом, что его дворянство недавнего происхождения и насчитывает не более двухсот лет. Но ведь надо принять во внимание, что для того времени тут не было ничего удивительного, особенно после того, как сам король сделал полуграмотную гризетку Вобернье графиней Дюбарри. А история Ленормана и девицы Рэм? Впрочем, об этой истории стоит сказать два слова поподробнее.

Муж покойной маркизы де Помпадур, Шарль Гюильом Ленорман де Турнегем-д'Этьоль, человек около пятидесяти лет, спокойный, рассудительный, очень богатый и крайне дороживший родовитостью и аристократизмом, однажды с видом полной убежденности высказал в довольно большом обществе, что, по его мнению, монархия — отживший институт и что всякий, желающий Франции добра, должен надеяться, что она станет республикой. Эти слова

облетели весь Париж в качестве милой шутки и смешной благоглупости! Ленорман и республика! Что может быть между ними общего! И Париж весело хохотал над этой наглядной несообразностью.

Но вскоре пришла еще более поразительная весть: д'Этьоль сделал предложение знаменитой девице Рэм, и их свадьба должна состояться в самом непродолжительном времени. А надо вам сказать, что эта Рэм была самой отчаянной куртизанкой того времени.

Конечно, Ленорман сейчас же попал на зубок парижанам, и уже на другой день на всех перекрестках распевали язвительный куплет:

Pour ruperer miseriam,
Que Pompadour fit a la France,
Le Normand, plein de conscience,
Vient d'epouser Rem-publicam [\[19\]](#)

Ленормана так задразнили этими стишками, что брак расстроился. Но достаточно уже того, что этот брак был возможен. Так что же может удивить кого бы то ни было в приключениях Адели в этот период времени?

Поэтому, отказываясь от мысли восстановить шаг за

шагом все те пять-шесть лет, которые мы прожили в Париже до вторичного возвращения в Россию, я просто отмечу то, что имело непосредственное отношение и влияние на дальнейшую судьбу Адели

III

Прежде всего скажу два слова о себе, чтобы уже не возвращаться к этому. Вскоре по прибытии в Париж я узнал, что мои дядя и тетя Капрэ умерли, причем все состояние Капрэ завещал мне. Однако в данный момент я был лишен возможности вступить во владение завещанным, так как дядя оговорил ввод во владение необходимостью моего признания в том, что между мной и девицей Гюс все бесповоротно кончено. Правда, нотариус, сообщивший мне об этом, дал мне понять, что по точному смыслу завещания никакой проверки моего признания произвести не поручено, так что этот пункт является пустой формальностью, ровно ни в чем не могущей стеснить меня. Но я отогнал от себя искушения дьявола. Гаспар Лебеф де Бьевр мог ошибиться и пасть, но бесчестным он не был и никаких компромиссов в делах совести не признавал. Поэтому вопрос о вступлении в наследство я отодвигал в туманное, смутное будущее. Как увидит читатель, еще не скоро пришлось мне назвать эти денежки своими.

Конечно, я далеко не с легким сердцем отказался от

конечно, я далеко не с легким сердцем отказался от предложения нотариуса сделать в присутствии двух свидетелей требуемое признание и получить свой капитал. Но что же я мог сделать?

Говорить с Аделью было совершенно бесполезно, так как я сам видел, насколько был нужен ей. Адель была крайне беспорядочна в денежных делах и совершенно не умела вести их. Ей нельзя было отказать в коммерческом нюхе, и многие мероприятия, внушенные ей, были действительно целесообразны со своей точки зрения. Так, например, Адель пожелала, чтобы я вел три отдельных счета: счет военных, счет статских аристократов и счет богатых буржуа. Из месячных итогов каждого счета она могла видеть, какого общественного слоя ей выгоднее всего преимущественно держаться. Но подать мысль — мало, надо уметь осуществить ее, а на это Адель сама по себе была совершенно неспособна. Она была жадна до денег, умела вытянуть с поклонника все, что можно, но в тех случаях, когда субсидия поклонника должна была поступать регулярно, она непременно забывала напомнить ему о наступившем сроке. Поэтому мне приходилось следить за этим и докладывать Адели, что тогда-то истек назначенный таким-то срок уплаты такой-то суммы, после чего Адель предъявляла требования об уплате. Вообще могу сказать, что эта сторона дела была поставлена у нас с коммерческой

аккуратностью солидного торгового дома. Помимо этого, без меня прислуга и поставщики неминуемо разорили бы Адель. Я строго следил за подаваемыми счетами, не давал воли прислуге, не позволял красть слишком много, а Адель была настолько безалаберна, что у нее можно было все взять из-под носа. Она сама отлично сознавала это, и вот именно моя добросовестность являлась причиной того, что мне нечего было думать об освобождении.

Впрочем, даже если бы я вздумал пренебрегать своими обязанностями, Адель не рассталась бы со мной. По приезде в Париж она с такой стремительностью завертелась в водовороте веселой жизни, что у нее буквально не было времени следить самой за чем-нибудь, а положиться на нового человека при эпидемии убийств и грабежей, которая свирепствовала в то время, было невозможно. Свободного времени у Адели действительно не было. Вести о ее российских приключениях и артистических успехах проникли и в Париж, и уже на третий день после ее приезда дирекция «Комеди Франсэз» повела с ней переговоры о гастролях. Выступления Адели каждый раз собирали полный зал и вызывали такой восторг, что от ангажементов и гастрольных предложений у нее не было отбоя.

А время, остававшееся от спектаклей и репетиций, без остатка уходило на бесконечные пиршества, маскарады, поездки и пр., и пр. Иногда случалось так,

что Адели по двое суток не удавалось прилечь хоть на полчасика. Сколько раз, бывало, часов в одиннадцать утра она являлась домой, приходила в ту комнату, где я возился с книгами, счетами и корреспонденцией, сдавала мне деньги, садилась против меня и, потирая кулачками заспанные глаза, устало говорила:

– Ах, Гаспар! Какая скучная вещь – это их веселье!

И каждый раз, когда она произносила подобную фразу, в моей памяти вставала бледненькая девушка-подросток, со стоном говорившая: «Ах, мать, мать! Какие скоты – эти мужчины, и какая грязная история – эта их любовь!»

Да, всего-то каких-нибудь пять лет прошло с того времени, а какой большой скачок отделял теперь душу Адели от него! Теперь разврат уже не казался ей «грязной историей», наоборот – он был скучен ей именно потому, что давал слишком мало ощущений, выливался в слишком однообразные формы. Впрочем, и то сказать: мало ли надругались за это время над душой Адели? Так где же тут сохранить былую брезгливость?!

Да, Адель сильно изменилась с того времени и теперь очень ловко вертела мужчинами. Вскоре после нашего возвращения к ней вернулись все ее прежние поклонники, и все они вскоре были удостоены зачисления в штат постоянных друзей сердца. В число их теперь попал и князь Голицын. Он сам, так сказать, капитулировал, напомнив Адели, как она ответила ему

на его домогательства любви: «Придется нам с вами подождать, пока или я постарею до бескорыстной любви, или вы постареете до любви корыстной».

— По всем признакам я уже постарел, — с беззаботной улыбкой сказал князь, — а вы — все еще нет! Так вот, дорогая мадемуазель, не обсудим ли мы этот вопрос, как рассудительные, деловые люди?

Они живо обсудили этот вопрос, и князь Голицын стал бывать у нас на положении «премьера».

После Голицына ближайшими друзьями Адели были: маршал Шарль де Роган, принц де Субиз, генерал-лейтенант Антуан де Сартин и канцлер Ренэ де Мопу. Все четверо отлично знали о роли князя Голицына, равно как и сам он отлично знал о них. Но ревновать в то время было не в моде, это считалось дурным тоном, да и каждый из «гусситов», как шутя называли себя ближайшие друзья Адели, отлично понимал, что одному человеку немислимо удовлетворить хищный аппетит такой прожорливой птицы.

Кроме «коренника» — Голицына и славной титулованной тройки — Субиза, Сартина, Мопу — победную колесницу Адели помогали тащить многие «поддужные» со стороны. Состав этих «поддужных» был самый разнообразный. Встречались молодчики из провинции, оставлявшие в один вечер у Адели сумму, на которую они собирались прожить в Париже целый

год. Были тут солидные отцы семейства, в течение года откладывавшие потихоньку деньги, чтобы иметь возможность посидеть хоть разок один-два часа в обществе Адели. Попадались купцы-толстосумы, нередко объявлявшие себя несостоятельными после недели веселого кутежа с Аделью. Иностранные владетельные особы, наезжавшие в Париж, считали своим неременным долгом осмотреть и девицу Гюс в числе общих парижских достопримечательностей. Среди этих владетельных принцев был один, которому суждено было впоследствии сыграть значительную роль в судьбе Адели и о пребывании которого в Париже мы поэтому поговорим подробнее.

Это был принц Густав, впоследствии шведский король Густав III. Но о нем дальше, а теперь вернемся к обществу Адели.

IV

Помимо «карманных гусситов», существовали еще «гусситы» дружбы и каприза.

В числе первых – женщин было очень мало, в числе вторых – не было, разумеется, совсем. Самыми близкими «гусситками дружбы» были: артистка итальянской оперы Паскалина Фель и княгиня Екатерина Дашкова. Паскалина Фель пользовалась, как артистка и женщина, таким же успехом, как и Адель. Но

все их интересы настолько разнились, что никакого соперничества у них и быть не могло. Адель была драматической артисткой, Паскалина – оперной. По внешним данным Адель была золотистой блондинкой, умеренно полной, с осанкою и манерами дамы большого света. Паскалина была смуглой брюнеткой, очень порывистой, суховатой, подвижной, гибкой. Адель была настоящей женщиной, Паскалина напоминала переодетого мальчишку. Адель была мягка в движениях и манерах, но резка и ядовита в словах, а Паскалина Фель как раз наоборот: отличаясь безобидным юмором, она бесконечно потешала общество, никого в то же время не обижая. Паскалина болтала без умолку и смеялась без перерыва; Адель говорила мало и почти никогда не смеялась, ограничиваясь улыбкой и прищуриванием зеленоватых глаз. Поэтому они не боялись взаимного соперничества: тот, кому нравилась Паскалина, не прельстился бы Аделью, а поклонники Адели находили, что с Паскалиной очень мило поужинать, но не больше. Так как делить обеим артисткам было нечего, а в своих воззрениях на жизнь и в хищнических аппетитах они вполне сходились, то их дружба была совершенно естественна.

Екатерина Дашкова была «гусситкой» только наполовину, так как она в то же время была яркой «фелинисткой». Впрочем, Фель пользовалась ее симпатиями в большей степени, как вылающая

певица, а в Адели Дашкова высоко ценила сильную женщину, умеющую твердо и прямо идти намеченным путем, добиваться своего и сметать всякие ненужные помехи вроде щепетильности, совестливости, сентиментальности и т.п. Дашкова была яркой поборницей прав женщины и находила, что мужчины забрали так много воли лишь по мягкосердечию и нежной податливости прекрасной половины. В ее глазах Фель была просто женщиной, которая пользуется своими чарами для беспечального существования; Адель же, по ее мнению, была женщиной, мстящей мужчинам за их правовое засилье. Удивляться этому нечего: княгиня Дашкова была очень умной и образованной женщиной и во многом отличалась трезвым отношением к жизни; но и у нее был свой «пунктик», и у нее были свои странности, благодаря которым умная Дашкова говорила и делала немало глупостей.

Дашкова была искренне привязана к Адели, но та внутренне относилась к княгине с недоброжелательной иронией. Однако княгиня была полезна, а потому Адель тщательно таила свое действительное отношение к ней.

Благодаря Дашковой Гюс быстро сошлась с целым кружком выдающихся умов, которые, став «гусситами дружбы», увеличили ее ореол и обаяние. В состав этого кружка входили: барон Фридрих Гримм, резидент герцога Саксен-Готского и (впоследствии) деятельный

корреспондент императрицы Екатерины; философ д'Аламбер и Дидро; скульптор Фальконэ, имевший особенный успех в России и отливший по заказу императрицы Екатерины конный памятник Петру I; художник Гренэ, тоже немало работавший для русской императрицы; Шарль Коллэ, талантливый автор массы популярных песенок, эпиграмм и сатир, основавший вместе с Пироном и другими лицами знаменитый кружок «Каво», который получил свое название от винного погребка, где собирались его члены^[20]. Разумеется, «гусситами» стали и остальные члены этого кружка, насчитывавшего в своих рядах, кроме Коллэ и семидесятипятилетнего поэта Алексиса Пирона, следующих выдающихся мужей: романиста Кребийона-младшего (которому, однако, было пятьдесят восемь лет); поэта Жозефа Сорена; поэта Пьера Бернара, прозванного Жантиль-Бернар^[21]; аббата Берниса, в юности – автора фривольных песенок, а впоследствии – кардинала, министра и члена Французской академии; ядовитого шевалье де Буффлера, который впоследствии стал очень важным губернатором Сенегала, но в то время беззаботно прожигал жизнь. Шевалье де Буффлер был самым младшим членом этого кружка: ему ко времени описываемых событий было около тридцати лет. Кроме указанных лиц, в кружке «Каво», а равно и в кружке «гусситов дружбы», было много других, но всех их не упомянешь, и я назвал только самых выдающихся.

Что касается «гусситов каприза», то я только теперь вижу, насколько был ошибочен в то время мой взгляд на эту сторону жизни Адели. Дело в том, что по временам Адель внезапно пленялась каким-нибудь бедным студентом, художником, начинающим поэтом, бросала на несколько дней свой роскошный дворец и проводила дни и ночи в мансарде бедняка, разыгрывая собою его музу. Я думал тогда, что в этих выходках сказывалась потребность в идеальной любви, что сердце Адели еще не окончательно источено развратом, и надеялся, что явится наконец такая сильная привязанность, которая спасет Адель и возродит ее к новой жизни. Но потом я убедился, что на эти приключения Адель толкали как раз, наоборот, крайняя испорченность, погоня за новыми ощущениями, а иногда и желание настоять на своем. Адель привыкла, чтобы в ее присутствии все мужчины млели и таяли, а случалось так, что какой-нибудь мечтательный юноша окидывал ее ледяным взглядом, в котором читался суровый укор ее распутству и пороку. Этого было достаточно, чтобы Адель сейчас же принималась за свои фокусы. Она заводила с юношей более близкое знакомство, начинала жаловаться на свою судьбу, на окружающих ее мужчин, которые неспособны дать что-либо жизни сердца, говорила, что если бы ей удалось встретить настоящего мужчину, то ради него она порвала бы со всем... Разумеется, юный пижон попадался в сети опытной кокетки и для него

попадался в сети опытной юкетки, и для него начиналась краткая пора «неземного счастья». Когда же Адель видела, что бедняга доведен до настоящей точки кипения, она высмеивала его в глаза и опять возвращалась домой. Конечно, бывали «капризы» и по другим мотивам.

Эти «капризы» служили Адели лишь мимолетным развлечением, но для самих объектов проходили не всегда бесследно. Двое глупых юношей покончили с собой, другие спились, несколько разбило себе жизнь, порвав с любимыми невестами. Много было несчастий... Но Адель только шурила свои зеленоватые глаза и говорила, пренебрежительно пожимая полными плечами:

– Кто же им велел? Я тут ни при чем! Да и мало разве страдала я сама от негодяев-мужчин?

Ни разу за все это время в Адели не вспыхивала даже искорка любви. Впрочем, была ли она способна к тому чувству бесконечного слияния, которое называется любовью? Не знаю, право... Мне кажется, что способность любить пришла к Адели лишь позднее, когда с годами ее женское обаяние стало утрачиваться.

V

Так и жили мы – день да ночь, сутки прочь. Я окончательно ушел в себя, стараясь чисто механически

относиться к окружающей меня ужасающей обстановке. Да и Адель стала утомляться этим беспокойным существованием. К тому же она видела, что эта жизнь нисколько не обеспечивает ее. Деньги текли отовсюду широкой струей, но соответственно с этим колоссальные расходы поглощали почти все без остатка. Приходилось вести широкий дом, тратить целые состояния на веселые ужины и вечера. Да и одни туалеты чего стоили! Таким образом, случись что-нибудь с Аделью, постигни ее болезнь или обезображивающее несчастье, и она сразу должна была стать нищей. Адель сознавала это, и такое положение вещей сильно тревожило ее. Она понимала, что единственное спасение – найти какого-нибудь богатого принца, который был бы способен один дать ей необходимую золотую рамку. Но где было взять такого? Принцы нередко навещали Париж; большинство из них достаивали Адель своей благосклонностью, но, проведя с нею несколько сумасшедших деньков и щедро оплатив ее «услуги», принцы обыкновенно уезжали обратно, не выражая ни малейшего желания связать себя с такой разорительной особой на более долгое время. Да, Париж был не то, что Петербург! Только в России можно было приобрести что-нибудь. Франция хороша для славы, здесь можно получить патент на звание мировой знаменитости, но коммерчески использовать этот патент можно только в богатой, сумасбродной,

дикой России! И Адель кусала себе губы, вспоминая, как глупо и неосторожно она обошлась с Орловым! Выдержать бы еще годик – и тогда у нее, наверное, скопилось бы недурненькое состояние, с которым она везде могла бы быть госпожой самой себе. А теперь пойди, найди другого Орлова! Правда, в России они нашлись бы, но туда ей было опасно возвращаться: Орловы были все еще в силе, и теперь они сумели бы заставить ее поплатиться за неудавшееся намерение свергнуть фаворита Семирамиды севера.

А тут еще вдобавок на Адель стали сыпаться несчастья. Самый щедрый из поклонников, князь Голицын, неожиданно порвал с нею, задумав жениться. Затем Адель понесла немалые убытки из-за одного «гуссита каприза» – скульптора Фальконэ (или Фальконета, как его почему-то называли в России). Тут, что называется, «нашла коса на камень». Уж на что Адель была хитрой бестией, а Фальконэ перехитрил даже и ее. Да и немудрено: не часто приходится встречать подобную выжигу, как этот господин! Несмотря на свои пятьдесят лет, Фальконэ сумел закружить Адель; она думала, что играет им, но в действительности являлась игрушкой в его руках. Она опомнилась, когда было уже поздно и в руки Фальконэ перешла крупленькая сумма денег. Затем пошли нелады с администрацией «Комеди Франсэз».

Адель стала серьезно задумываться и беспокойно

Адель стала серьезно задумываться и беспокойно осматриваться по сторонам. Но ее час еще не настал: уже близилось первое появление того, которому в скором времени предстояло стать послушным золотым бараном для хищной куртизанки.

Однажды мы сидели с Аделью за тревожным подсчетом сумм, имевшихся в нашем распоряжении, как вдруг вихрем влетела хорошенькая Паскалина Фель.

— Ну, Дель-Дель, — затараторила она, — ведь «он» приехал!

— Кто «он»? — с недоумением спросила Адель.

— Ах, да принц Густав, конечно! Ведь я же говорила тебе, что его ждут!

— Но как же я могу знать, что ты говоришь о принце, и почему ты думаешь, что для меня это так важно? — недовольно спросила Гюс.

— Вот это мне нравится! — захохотала Паскалина. — Принцы, дорогая моя, попадают не на каждом шагу, а такие «удобные», как этот Густав, и подавно! Принц очень любит Париж, а еще больше — парижанок. Он — страстный поклонник театра, и еще больше — красивых актрис... К тому же он глуповат, наивен, доверчив... И ты будешь утверждать, что тебе это все равно?

— Нет, это мне, конечно, не все равно, но... Но, милая Паскалина, ты его, наверное, уже видела?

— А как же! Вчера вечером его затащили к нам в оперу, а потом он был у меня в уборной...

— Ну, вот видишь!

— И я ему, как женщина, совершенно не понравилась! Он заявил, что я похожа на переодетого мальчишку и слишком неженственно резка. Его идеал — женщины более дородные, величественные, наклонные к сантиментам... Словом, Дель-Дель, если ты захочешь разыграть маленькую комедию...

— Но для этого нужно, чтобы я увидела его!

— Не беспокойся, пожалуйста, за этим дело не станет! Ведь ты завтра играешь в «Заире»?

— В том-то и дело, что я еще не знаю этого! У меня вышли такие неприятности, что...

— Нет, нет, ты непременно побори свое раздражение и играй завтра во что бы то ни стало. Завтра принца везут в «Комеди», и если не будет тебя, то ему подсунут кого-нибудь другого. Дичинато слишком жирная!.. Смотри, Дель-Дель, не скоро подвернется такой случай!

— Право, не знаю... Так не хочется уступить Дешанелю...

— А надо, милая, ничего не поделаешь! Смирись на один вечер! Потом ты уже можешь делать все, что захочешь!

Адель согласилась, что Паскалина говорит дело, и стала тщательно готовиться к встрече с принцем. Она сейчас же съездила к друзьям, разузнала все, что было можно, о привычках и вкусах принца, и на другой день

явилась в театр во всеоружии. Играла она в этот вечер с редким подъемом, произвела потрясающее впечатление на публику, а вместе с ней и на принца: потом Густава повели к ней в уборную, а после спектакля у княгини Дашковой состоялся веселый ужин, за которым принца посадили рядом с Аделью. Тут за сценическим драматическим талантом Адели проявился свойственный ей талант житейско-драматический. Она говорила с принцем о литературе, об искусстве, жаловалась на трудности артистической жизни, на массу грязи, через которую приходится переступать, — словом, в совершенстве изобразила перед ним идеальный тип женщины, насильственно вовлеченной в тину жизни, но сумевшей сохранить в себе неиспорченную душу и тоскующей по чистым радостям бытия.

На другой день Густав был у нее с визитом и по ее просьбе остался к нарочито скромному завтраку. Вечером они были вместе в итальянской опере, потом солидно ужинали вдвоем в одном из кафе. На следующий день утром они поехали за город, где долго бродили среди трогательной прелести первого весеннего расцвета природы. Они гуляли по полю, взявшись за руки, словно влюбленный студент со скромной модисточкой, потом непринужденно завтракали яичницей и сидром в убогой деревенской гостинице. Принц был почтителен, робок и не позволял себе ничего, кроме скромного пощипывания руки. Но Адель

видела, что он теряет голову, и ловко вела его к желаемому объяснению.

Однажды Адель должна была играть в какой-то новой двухактной пьеске, шедшей в один вечер с пьесой «Жорж Данден» Мольера, где она не была занята. Перед спектаклем принц обедал у Адели, и она так мило хозяйничала, так артистически разыгрывала роль наивной простушки, что принц окончательно растаял. Адель видела, что он готов сделать ей долгожданное признание, и направила всю свою энергию на то, чтобы подвести его наконец к этому. В результате принц воскликнул:

— Боже мой, как вы прелестны, дитя мое! Если бы вы знали, как бесконечно трогают меня ваша наивная грация, лучезарная ясность вашей души! О, если бы вы знали, как рвется мое сердце сказать вам кое-что... Но нет, не сегодня! Ведь сегодня вечером вы играете в новой пьесе, и я боюсь, что мои слова взволнуют вас...

— Разве вы хотите сказать мне что-нибудь неприятное, граф?^[22] — наивно спросила Адель.

— О нет, как вы могли подумать! — возразил Густав. — Быть может, мои слова покажутся вам неприятными, но... Нет, позвольте мне пока промолчать и обождать до вечера!

Вечером, окончив свою роль в двухактной пьесе, Адель переоделась и отправилась в ложу принца. На

сцене шла веселая комедия Мольера, но парочка не смотрела на сцену: уютно устроившись в аванложе, принц и Гюс близко-близко сидели друг возле друга, вздрагивая под напором одолевавшего их нетерпения. Адель боялась, что принц так и не решится на признание, а Густав боялся, что Адель дурно истолкует его мотивы и намерения...

Наконец он поборол свою робость.

— Дорогая моя! — нежно сказал он, взяв артистку за руку. — Я боюсь, что мои слова, мое признание оскорбят вас. Но я прошу лишь об одном: не делайте заключений раньше времени и дайте мне высказаться до конца... Ведь я — принц, и бывают моменты, когда я почти жалею об этом! Мы многим связаны, мы не располагаем собой так, как располагают собой обыкновенные люди, но это не мешает нам быть тоже людьми и страдать, и чувствовать так же, как простые смертные. Взвесьте все это и поймите...

Тут в дверь ложи постучали. Густав с недовольным видом встал и открыл дверь: в щелку просунулась чья-то рука, протянувшая принцу письмо. Густав вскрыл конверт, прочитал записку и смертельно побледнел.

— Какое несчастье! — пробормотал он, в изнеможении опускаясь на диванчик.

Но тут, прежде чем мы перейдем к описанию дальнейших событий, нам необходимо сначала вкратце набросать биографию принца и состояние шведских дел

того времени. Без этого читателю не будут понятны сложные чувства, охватившие принца при полученном известии. Кроме того, мне все равно придется повести за собой читателя в Швецию, так пусть же он отправится впоследствии за мной в эту страну уже вооруженным необходимыми знаниями.

VI

Прежде всего замечу, что мнения относительно Густава сильно расходились. Одни, как, например, императрица Екатерина II, считали его дурачком-авантюристом, другие, как Фридрих II, относились к нему с уважением. И сейчас находятся и люди, готовые видеть в Густаве III великого гения, как находятся такие, которые вполне разделяют мнение автора пьесы «Горе-богатырь Косометович»^[23]. Я лично не принадлежу ни к тем, ни к другим. Правда, я видел Густава очень близко, долгое время наблюдал за ним, но современнику трудно усвоить себе полностью беспристрастный взгляд на историческую личность: необходима историческая перспектива, чтобы эта личность выглядела в надлежащем свете. Поэтому я, быть может, и ошибаюсь в оценке Густава. Но мне он рисуется хотя и неплутым, однако с придурью. По натуре он был очень неплохим человеком. Он был незол, довольно мягок, слабоволен,

хотя и упрям. Бог это-то упрямство и далю ему возможность кое-чего добиться. Но им было очень нетрудно вертеть, и, если кто-либо, наподобие Адели, умел затронуть надлежащие струны его души, тот мог делать с Густавом все, что хотел.

Итак, обратимся к его биографии до того момента, когда в ложу подали письмо с каким-то печальным известием.

Густав родился 24 января 1746 года. Его отец, король Адольф-Фредерик, происходивший из дома Гольштейн-Готторн, был порядочным ничтожеством. Его мать, Луиза Ульрика, сестра прусского короля Фридриха Великого, отличалась большой энергией при небольших данных, причем эта энергия с лихвой замещала в ней некоторый недостаток ума и такта. Но по отношению к Густаву она проявляла себя довольно разумной матерью, вверив его воспитание в надежные руки. Сначала первыми шагами принца руководил знаменитый Далин, считавший себя ученым историком и немножко поэтом, а на самом деле бывший больше поэтом, чем историком: его капитальный труд по истории Швеции лишен главного условия ценности исторического труда — критического отношения к источникам. Но Далин все же был образованным человеком, обладавшим к тому же педагогическими способностями, и под его руководством принц развил значительный умственный кругозор. Затем по

требованию сената Далина уволили и приставили к принцу ограниченного, но осторожного графа Тессина, который сумел запечатлеть в душе Густава твердое сознание монарших обязанностей по отношению к народу. После этого к особе принца приставили графа Шеффера, человека опытного, испытанного дипломата.

Достигнув зрелости, Густав был уже достаточно подготовлен к принятию в свои руки государственного руля. Он отлично владел иностранными языками, был посвящен в тайны дипломатических отношений, знал историю своей страны, положение различных сословий, их требования и желания, средства к удовлетворению или причины невозможности удовлетворения этих желаний. И с военным делом он был знаком весьма недурно. Теперь ему захотелось ознакомиться лично со своей страной и с чужими странами. Он совершил путешествие по Швеции, затем посетил Пруссию, откуда с восторгом направился к цели своих стремлений — Франции, которую он привык любить с детства благодаря матери, страстной поклоннице всего французского.

О состоянии Франции в то время мы уже говорили: это была эпоха величайшего умственного расцвета и нравственного распада. И то, и другое привлекали Густава. Он был страстным поклонником театра; но Паскалина не ошибалась, когда говорила, что артистки привлекают его не меньше. Густав был сильным

женолюбцем, но его чувственность выливалась в чудаковатые формы: он хотел, чтобы распутство прикрывалось дымкой сентиментальной поэзии. При этом он имел еще неумную претензию быть высокого мнения о своей наружности, хотя его редькообразная голова, скошенный лоб, длиннейший нос, большие бараньи глаза и уродливый мясистый подбородок были слишком далеки от строгих античных линий. Женщина, достаточно умная, чтобы играть желаемую им роль, и достаточно бесстыдная, чтобы называть его красавцем, могла вертеть им, как угодно. Адель как нельзя больше подходила для этого, и он так пленился ею, что совсем забыл о той тайной политической миссии, ради которой он, в сущности, и прибыл в Париж.

Еще с того времени, когда восшествие на престол Елизаветы Петровны не оправдало надежд Франции на преобладание в русской политике, правительство Людовика XV вернулось к политике кардинала Ришелье, субсидировавшего Швецию для создания на севере противовеса англо-русскому влиянию. Но в 1766 году, когда англо-русская партия захватила преимущественное влияние в шведских делах, Франция лишила Швецию обычной субсидии. Густаву и было поручено исхлопотать у тогдашнего французского главы правительства, герцога Шуазеля, восстановление субсидии. Но, поддавшись чарам Адели, Густав как-то совсем забыл и о Швеции и о ее интересах. Вот его

совсем забыл и о Швеции, и о ее интересах. Вся его жизнь сосредоточилась на одном пункте: согласится ли Адель увенчать его пламя страсти. И вот, набравшись храбрости, он приступил к изъяснению своих чувств, но тут в дверь ложи постучали, и Густаву передали письмо.

Вскрыв конверт, принц нашел записку от графа Шеффера. Тот извещал Густава, что его отец скоропостижно скончался и что сенат избрал королем его, Густава.

Принц был так далек в этот момент от Швеции и шведских дел, что известие о смерти отца действовало на него уничтожающим образом. Все кружилось перед ним, он сам не мог сказать, радость или горе испытывал он от этого известия. Одно только он понимал: оставаться в театре далее было неудобно.

— Дорогая моя, — сказал он Адели, — я получил очень печальное известие, которое заставляет меня уйти из театра. Завтра я буду у вас и все объясню! — и, сказав это, он быстро ушел, чтобы избежать расспросов.

Густав вернулся домой и там застал Шеффера. Тот изложил ему подробности смерти короля. Кроме того, Шефферу было поручено представить Густаву те условия, на которых он может быть признан королем. Далее мы укажем, каковы были эти условия в связи с историей конституционного движения в Швеции, а теперь скажем только, что они были довольно унижительного характера и далеко не свидетельствовали

о доверии родины к государственным талантам и порядочности нового короля. Но у Густава не было выхода, ведь его могли попросту не пустить обратно в Швецию, и он предпочел подписать поставленные ему требования, давая в то же время себе слово, что при первом удобном случае он нарушит их.

Когда с этим вопросом было покончено, Шеффер спросил Густава, как обстоит дело с субсидией. Густав не мог сказать ничего утешительного, а потому пустился на увертливые уверения, что все необходимые шаги предприняты и что в самом скором времени...

Но Шеффер довольно неделикатно остановил разглагольствования своего бывшего ученика и почтительно заметил, что его величество сильно ошибается. Во-первых, дело с субсидией еще дальше, чем было раньше, так как герцог Шуазель не желает давать ее Швеции; во-вторых, как бы благоприятно ни обстояло это дело, но медлить нельзя: надо сейчас же идти к Людовику, сообщить ему о смерти короля Адольфа и воспользоваться для исходатайствования желаемого тем, что французский король будет без своего министра.

Густав стал уверять, что в такой поздний час (было десять часов вечера) нельзя попасть к Людовику и что подобной торопливостью можно лишь испортить все дело.

Однако Шеффер опять непочтительно перебил

короля. Он высказал ему горький упрек в недостаточно сознательном отношении к нуждам родины, заявил, что его удивляет неосведомленность Густава, не знающего того, что известно всему свету, и т.п. В результате он заявил, что ждать нельзя, а так как на Густава надежда плоха, то он сам отправится к королю. И действительно Шеффер сумел проникнуть во дворец, заставил разбудить короля и ухитрился получить согласие на восстановление субсидии.

Так печально началось царствование Густава III: сначала его заставили подписать отречение от многих коронных прав, затем на деле доказали ему, что он – не более чем пешка, от которой трудно ждать пользы для государства.

Немудрено, если Густав с тяжелым чувством направился в Стокгольм, куда он прибыл 30 мая 1771 года. Он чувствовал необходимость восстановления прав и престижа короны, но не отдавал себе достаточно ясного отчета в том, каким образом он добьется этого.

Но почему же королевская власть была так унижена в Швеции и в чем именно сказывалось это унижение?

Нам необходимо выяснить это, так как иначе многое из последующего не будет достаточно понятным.

VII

Карл XII, славный противник Петра Великого, пользовался всей полнотой неограниченной монархической власти. Эту полноту он использовал для того, чтобы вопреки желанию и интересам нации дать удовлетворение своей страсти к военной авантюре. При Карле XII Швеция все время воевала, но в результате территориально уменьшилась, а не увеличилась, и казна не обогатилась (как в Пруссии при Фридрихе Великом), а окончательно опустела. Гнет экономического застоя и поголовное обнищание нации страшно изнурили население, и, когда Карл умер (сраженный, как говорят, не вражеской, а шведской пулей), шведы постарались гарантировать себя на будущее время от подобных злоупотреблений властью. На престол была избрана сестра Карла, Ульрика Элеонора, но получение короны было связано для нее с необходимостью подписать отречение от монархических прерогатив. Была выработана конституционная хартия (так называемая «Конституция 1720 года»), состоявшая из пятидесяти одного параграфа, которые все склонялись к лишению монарха возможности действовать против желания и пользы нации. Теперь король мог только царствовать, правящая роль отводилась штатам и сенату.

Штаты собирались каждые три года на так называемые сеймы. В состав шведских штатов входили представители всех четырех сословий — дворянства, крестьянства, купечества и духовенства. Штатам была

предоставлена законодательная власть, а исполнительная принадлежала сенату, избираемому штатами. Последним предоставлялось исключительное право объявлять войну, заключать мир, производить выпуск монет. Они же следили за крупными судебными делами, и обвинение в государственной измене предъявлялось по усмотрению штатов. Это давало им возможность зорко следить, чтобы их прерогативы не нарушались, так как всякая попытка короля поступить антиконституционно считалась государственной изменой. Из состава трех сословий штатов – дворянства, купечества и духовенства (крестьянство было исключено) – избирался тайный комитет, являвшийся по существу настоящим монархом.

По окончании сессии сейма власть переходила к сенату. Закон гласил, что сенат – учреждение священное, а личность сенатора – неприкосновенна. Все сосредоточивалось в их руках. Даже иностранные депеши вскрывались сенаторами и лишь по прочтении ими передавались королю, который не имел права вскрыть депешу сам.

Что касается короля, то он вообще мало что имел право делать. Он мог возводить в дворянство, даровать титулы и... рекомендовать сенаторам тех или иных кандидатов на чиновничьи вакансии. Но сенат, разумеется, абсолютно не был обязан считаться с желанием короля и всегда мог отвергнуть кандидатуру.

Надо сказать, что сенат широко пользовался этой возможностью, и многое в практическом осуществлении конституции носило характер явного желания «указать королю его место». Сенат даже вмешивался в домашний распорядок личной жизни короля и королевы, которые были бесправнее любого приказчика из мелочной лавки!

Если так обстояло дело с мелким распорядком личной жизни короля, то чего было ждать от «большой политики»? В силу отсутствия фактического единодержавия, эта политика не могла быть единообразной. Таким образом, вскоре в среде депутатов наметились две партии, два течения. Во главе одной партии стал Гилембург – эта партия старалась держаться Франции. Во главе другой находился граф Горн – это была партия русофилов. Первых называли «шляпами», вторых – «колпаками».

Последствия разлада скоро сказались. При вступлении на русский престол Елизаветы Петровны Россия двинулась в Финляндию и отобрала у Швеции три важнейших крепости – Нишлот, Вильманштрандт и Фредериксгамн, ключ к Петербургу. Правда, по требованию штатов были казнены генералы Будденброк и Левенгаупт, командовавшие шведскими войсками, но какая компенсация могла быть получена Швецией от этого акта бессмысленной жестокости?

Вот при каких обстоятельствах на шведский престол вступил (после смерти короля Фредерика I) Адольф-

Фредерик, отец Густава III. Ему пришлось чуть ли не с первых шагов вступить в открытый конфликт с сеймом, конфликт, в котором победа оказалась не на стороне короля.

Еще будучи женихом, король преподнес своей невесте бриллианты. Вступив на шведский трон, Луиза Ульрика поспешила заложить все свои личные драгоценности, чтобы на полученную сумму основать партию монархистов; сестра Фридриха Великого была твердо уверена, что для поднятия королевского престижа достаточно энергии и доброго желания... Сенат узнал о замыслах королевы и потребовал проверки коронных бриллиантов. Когда специальный чиновник явился к королеве с извещением о состоявшемся постановлении, она обошлась с ним более чем пренебрежительно. Она заявила, что никому нет дела, куда она дела свои личные драгоценности; что же касается коронных, то, раз сенат позволяет себе подобное пренебрежительное отношение к своей королеве, она не желает носить их и просит их убрать. Тогда сенат сделал очень строгое и энергичное представление королю: пусть он, дескать, внушит своей супруге, что она в государстве – ничто, что она служит лишь для личной надобности короля, но к государственному устройству она никакого отношения не имеет; поэтому ей надлежит выказывать большую

почтительность к такому высокому учреждению, как сенат.

Что было делать? Король проглотил и эту пилюлю.

Затем сенат стал вмешиваться во внутреннюю жизнь королевской семьи. Король указом запретил экипажам не принадлежащим к королевской семье лиц въезжать во внутренний дворцовый двор, а сенат отменил этот указ. Королева пожелала иметь наставником сына Далина, а сенат предписал Далина уволить и приставить к принцу Густаву Шеффера. Мало и этого. До сих пор король вместо подписи прикладывал к своим указам штамп. Сенат узнал, что властолюбивая Луиза Ульрика завладела этим штампом, и распорядился, чтобы отныне король непременно расписывался собственноручно, а штамп был отобран сенатом. И опять королю пришлось подчиниться. Что такое был его царственный сан? Пустой звук, бессодержательная проформа...

Конечно, народоправие в принципе имеет свои достоинства и преимущества. Но к чему же тогда обзаводиться королем? Неужели только для того, чтобы на каждом шагу подчеркивать его бесправие? Король при всяких обстоятельствах является представителем нации. Унижая своего представителя, шведы унижали самих себя.

Так шло дело, когда в 1765 году вспыхнула революция в защиту прав короля. Некто Гофман,

которого через своих клеветников подстрекнула сама королева, собрал горсть партизан и двинулся на столицу «освободить короля». Его схватили, привезли в Стокгольм и здесь обезглавили. В наказание «колпаки», стоявшие в то время у власти, придумали королю новое унижение. В сенате освободилось место, и штаты выставили кандидатом человека, которого король считал своим личным врагом. Избрание должно было быть подтверждено подписью короля. Но Адольф-Фредерик категорически отказался утвердить намеченного кандидата. Три раза этого субъекта переизбирали, и, когда и на третий раз король отказался подписать указ о назначении, сенаторы приложили к указу подпись-штамп, отобранный ранее у Адольфа. Куда же было идти далее? Король потребовал, чтобы сейчас же был созван чрезвычайный сейм, на котором будет поднят вопрос о пересмотре монарших прерогатив. Сенат отказал в созыве сейма. Тогда Адольф-Фредерик послал своего сына Густава к сенаторам с требованием вернуть отобранный штамп. Сенат отказал и в этом. Тогда, подчиняясь инструкциям отца, Густав заявил сенаторам, что его отец отказывается от королевского сана, и они могут считать шведский трон вакантным. Сенату пришлось согласиться на созыв чрезвычайного сейма — иначе положение Швеции становилось крайне нелепым.

Но и этот чрезвычайный сейм почти не увеличил королевской власти: он отказал Адольфу Фредерику в его

требовании предоставления королю права назначения личным усмотрением военных чинов, как отказал в увеличении гражданского листа, сокращенного до такой мизерной степени, что король не мог пользоваться даже элементарнейшей монаршей прерогативой: заниматься благотворительностью. Отказывая в праве назначения начальствующих лиц армии и сокращая гражданский лист, сейм хотел лишить короля возможности приобретать сторонников.

VIII

Вот как обстояло положение дел в Швеции в тот момент, когда Густав стал королем. Теперь нам уже понятно, почему известие о смерти отца вызвало в его душе такие сложные ощущения: Густав III хотел царствовать и править, а ему предстояло с самого начала стать еще большей игрушкой в руках сената, чем его предшественники.

Я уже говорил, что, несмотря на унижительность поставленных Густаву требований, он все-таки согласился принять их, давая себе в то же время слово при первом же удобном случае повернуть все это дело по-своему. Но, будет ли такой удобный случай и как его использовать, этого Густав не знал. Зато он твердо знал, что в данный момент надо оставить мысль об интрижке

с понравившейся ему актрисой: перед ним встали слишком серьезные политические задачи.

На следующий день, получив аудиенцию у Людовика XV, поблагодарив его за оказанную помощь и откланявшись, Густав приступил к отдаче необходимых прощальных визитов. Только после этого он приехал к Гюс.

Адель была напугана и встревожена его грустным, задумчивым видом. Конечно, она сейчас же стала расспрашивать, что именно случилось и что было в известии, погрузившем принца в такую грустную озабоченность?

— В письме, которое прервало нашу беседу, — ответил Густав, с сожалением и любовью окидывая красивую фигуру Адели, — в этом ничтожном конвертике была страшная весть: король, мой отец, умер!

Адель глубоко присела в церемонном реверансе перед Густавом и воскликнула:

— Ваше величество, примите мои искренние соболезнования и сочувствие тяжести постигшей вас утраты. Но ведь умер не только отец, умер король. Ну, а «король умер, да здравствует король!». Поэтому позвольте вашей ничтожной рабе принести вашему величеству сердечные поздравления со вступлением на престол!

— Полно! — грустно ответил Густав. — Разве с несчастьем поздравляют?

— Но, ваше величество...

— А разве не несчастье в мои годы взвалить на себя корону, сопряженную с массой обязанностей и лишенную всяких прав? Да, теперь мне придется отказаться от возможности интимного общения с людьми, теперь я должен сказать «прости!» дружбе и правдивости...

— Дружбе? — воскликнула Адель. — Но, ваше величество, чего-чего, а друзей...

— Друзей? — с горечью перебил ее Густав. — Их не бывает обыкновенно даже и у простых смертных, а у королей их просто не может быть!

— Но, ваше величество, мне казалось, что... У нас, во Франции, ваше величество так любят, и здесь найдутся искренние почитатели, восторженные друзья вашего величества!

— О, да, — ответил Густав, — в симпатии французов я верю, как верю и в то, что передо мной сейчас находится мой искренний друг. Но... — Он задумчиво провел рукой по волосам, хмуро прошелся несколько раз по комнате и продолжал, искоса глядя на Адель: — Итак, я уезжаю. Неожиданная смерть короля-отца многое изменяет в моих намерениях. Я рад, что не успел договорить то, что начал в ложе. К чему это теперь? Все равно в настоящий момент я не властен над собой. Все личное отпадает — передо мной встали крупные государственные задачи, большие планы. Мне

предстоит страшная борьба. Быть может, пройдут годы, пока передо мной встанет хоть тень осуществления моих целей. Могу ли я о чем-нибудь думать теперь, кроме них?

Он опять замолчал, опять прошелся несколько раз по комнате. Адель слушала его с побледневшим, вытянувшимся лицом.

— Однако, — продолжал король, — я могу, не договаривая до конца, все же открыть вам кое-что... Дорогая моя, вы должны были давно уже понять, что я бесконечно преклоняюсь перед вами, как перед артисткой, женщиной и человеком. Когда мне удастся восстановить в Швеции поправленное достоинство монарха, я позабочусь о поднятии на должную высоту искусства, которое у нас, в Швеции, находится в полном пренебрежении. И если я тогда напишу вам: «Дорогая моя, приезжайте, чтобы помочь мне в моих начинаниях, чтобы стать мне необходимым другом и помощником!», — могу ли я рассчитывать, что ваш ответ будет благоприятен?

Адель внутренне усмехнулась, подумав:

«Улита едет — когда-то будет! Эх, ты, дурачок, дурачок! Сделаешь ты что-нибудь путное, как же!.. Долго этого ждать... Но как не везет, в какую ужасную полосу вступила я! Надо же было так случиться... Эх!..»

Однако вслух она сказала:

— Ваше величество, я бесконечно горю, что по

— Ваше величество, я бесконечно скорблю, что по воле сложившихся обстоятельств мне приходится терять на неопределенное время человека, на которого я привыкла смотреть как на близкого, старого друга — уж простите мне эту вольность!.. Конечно, я всегда буду рада отозваться на ваш призыв, но ведь мы, артистки, — перелетные птицы, которые не выют надолго гнезда... Сегодня я здесь, а где буду в тот момент, когда осуществляются пышные планы вашего величества, неведомо.

— Где бы вы ни были! — пламенно воскликнул Густав, страстно приникая к руке Адели. — Разве такая большая артистка может скрыться бесследно? Разве пресса всего мира не считает нужным оповещать публику о том, где подвизается великая Гюс? Где бы вы ни были, мой призыв всюду разыщет вас, лишь бы вы откликнулись на него! Могу ли я надеяться на это? Скажите, ответьте, чтобы я мог уехать успокоенным!

Уехать? Адели было мало дела до спокойствия или беспокойства своего царственного поклонника, раз уверенность была нужна ему лишь для того, чтобы «уехать» со спокойной душой. Она уже по характеру и тону, который принял разговор, рассчитывала, что Густав все же открыто признается ей в любви, а тогда она сумеет заставить его перейти от сдержанных намеков к чему-нибудь более существенному. Однако он по-прежнему говорил об отъезде, по-прежнему не

выходил за границы полупризнания.

— Ваше величество, — желчно, недовольно сказала она, — раз вы не можете почему-то договорить до конца, то к чему начинать? Ведь я — человек, у меня имеются свои иллюзии, свои маленькие мечты, свои чувства наконец... К чему же вы так безжалостно дразните меня? К чему эти недомолвки, полупризнания? Или монархи нас, жалких каботинок^[24], не признают за людей, имеющих живую душу? Или королю Густаву Третьему уже стало совершенно безразлично то, что еще недавно представляло интерес для графа Готского? Конечно, какое дело могущественному монарху до того, что распутная актриска Гюс ошиблась в расчетах и вложила больше сердца, чем это следует делать, что она...

— Дорогая моя! — страстным тоном вырвалось у Густава, который кинулся к Адели и стал в полубеспамятстве осыпать ее руки пламенными поцелуями. — Как вы жестоки и ко мне, и к себе! Вы — и «распутная»! Как только мог ваш язык повернуться, чтобы выговорить это слово! Да неужели вы не видите, что я преклоняюсь перед вами, что я готов целовать след ваших ног, что в вас для меня соединился весь идеал женственной чистоты, прелести... — Он остановился на полупразае, выпустил руки Адели, схватился за голову и, словно ужаленный, отскочил к окну, где простоял несколько секунд в скорбном молчании. — Боже мой! —

пробормотал он наконец. — Там, в родном замке, еще лежит труп моего короля и отца, а я... я... — Он стиснул свои руки так, что они резко, неприятно хрустнули, а затем, словно обретя в этом жесте необходимое равновесие, отошел от окна и сказал со спокойной грустью: — Не будьте ко мне слишком строги! В данный момент я стою перед таким важным шагом, который отвлекает мои мысли и чувства от всего личного. Поймите, я не смею сказать вам все, что хотел бы.

— Но почему? — крикнула Адель, пытаясь хоть последним натиском решить исход кампании в свою пользу. — Почему? Или вы думаете, что я не сумею понять и оценить ваши мотивы?

— Нет, — просто ответил Густав, — я нахожу, что сам я недостаточно спокоен и плохо владею собой, чтобы выяснить все, тревожащее меня. Позвольте мне теперь откланяться, но перед отъездом я еще выберу время, чтобы передать вам свой прощальный привет! — и, прежде чем Адель нашла что сказать, Густав поклонился и быстро вышел из комнаты.

Адель стала с нетерпением ждать обещанного прощального визита, надеясь, что авось ей все же удастся вырвать у короля категорическое признание, после которого ему останется лишь взять ее с собой в Швецию. Но и тут ей пришлось разочароваться: Густав не заехал, как обещал, а прислал прощальный подарок и

письмо.

Он написал, что чувствует себя слишком слабым в присутствии Адели, а потому предпочитает избежать прощания, во время которого мог бы сказать ей больше, чем он имеет право в данный момент. Но он твердо надеется, что скоро наступит время, когда он сможет возобновить их прерванное знакомство, и тогда... о, быть может, тогда он тоже сможет познать самое обыкновенное, доступное всем простым смертным, но редкое у королей счастье!

Адель была очень довольна подарком, но все же он был слишком незначителен в сравнении с теми благами, которые уже рисовались ей в мечтах как последствие знакомства с «графом Готским». И она серьезно приуныла: судьба решительно отворачивалась от нее.

IX

Ближайшим последствием этого разочарования было то, что Адель, что называется, «закрутила» вовсю. С каким-то озлоблением, с какой-то страстной отчаянностью и удальством она кинулась в самый вихрь безудержного разгула. А это все плачевнее отражалось на ее положении и на наших финансах. Ведь на бирже горячего человеческого мяса женщина ценится постольку, поскольку она умеет заставить себя уважать. И теперь учет наших кассовых книг показывал совсем

другую картину распределения прихода по сословиям: статское дворянство почти совершенно отвернулось от Адели, из военного при ней оставалась лишь самая мелкота, и главными «кормильцами» теперь стали разбогатевшие купцы и подрядчики — народ требовательный, грубый и неприятный.

Да, с каждым месяцем Адель все яснее видела, что ей необходимо уехать куда-нибудь. Но куда? В России все еще стоял у власти ненавистный и опасный Орлов. В Испании были государственные неурядицы, в Австрии царствовала добродетельная Мария Терезия с ханжой-сыночком Иосифом, преследуя всякую излишнюю роскошь и стараясь насаждать добрые нравы в высших кругах (что при этих обстоятельствах было там делать Адели?). В Пруссии трудно было рассчитывать на какой-нибудь успех, так как Фридрих II к тому времени сильно постарел и уже не был склонен к повторению веселых эскапад юности. А в Швецию Адель не могла ехать, так как нельзя было рассчитывать на успех там, где ей еще недавно и вполне категорически было предложено «обождать». Но она все же надеялась, что Густав вспомнит о ней и пришлет наконец ожидаемое приглашение. Поэтому она старалась внимательно следить за всем происходившим там. Но то, что ей удавалось узнать о Густаве, еще более доказывало ей невозможность для него в данный момент думать о ком бы то ни было.

Действительно, с момента вступления на шведскую землю Густав энергично и осторожно принялся за достижение намеченной цели. В тронной речи, сказанной им при открытии сессии сейма, он первым делом отступил от выработанных традиций. Обыкновенно эту речь писал и читал от имени короля премьер-министр. На этот раз Густав произнес эту речь сам. Она была задумана хорошо, в ней юный король под видом благожелательности сумел указать на крупный недостаток шведского строя — избыток партийной вражды, влекий за собой пренебрежение реальными нуждами страны ради сведения личных счетов. Таким образом Густаву удалось поселить в умах многих трезвых людей сомнение: да нужно ли, полезно ли такое умаление королевской власти, какое было в Швеции?

Дальнейшие сведения говорили, что король зажил в полном согласии с сеймом и сенатом, но исподтишка, осторожно стал готовиться к возможности в случае нужды постоять за себя. Для этого он приблизил к себе молодого подполковника Спринг-Портена, человека очень отважного, умного и преданнейшего монархиста. Вместе с капитаном Хиллишиусом Спринг-Портен встал во главе группы офицеров, рвавшихся послужить королю и восстановить его авторитет. Спринг-Портен слишком скомпрометировал себя своей горячностью, и сенат удалил его в Финляндию. Возникло даже опасение, что сенат возбудит против короля обвинение

опасение, что сенат возбудит против короля обвинение в попытке нарушить конституцию. Хотя Густав и не считал себя достаточно подготовленным для открытой борьбы с сенатом, но напряженность момента была такова, что надо было рискнуть всем. И Густав рискнул. С горстью преданных офицеров и солдат он овладел арсеналом, привлек на свою сторону два полка и затем арестовал сенат в полном составе. Это случилось 19 августа 1772 года. На другой день – двадцатого – король принимал присягу от народа, а на третий – опубликовал новую конституционную хартию, которая совершенно изменяла положение монарха. Созыв и роспуск сейма зависели от воли короля, его же единоличной волей назначались все без исключения гражданские и военные чины, и он мог свободно распоряжаться флотом, армией и финансами. Объявление войны, заключение мира и подпись международных трактатов были всецело в компетенции короля. И во многом другом эта компетенция значительно расширялась. Но к чести Густава необходимо прибавить, что он все же не подавил той свободы, которой пользовался народ: его конституция была направлена лишь на то, чтобы лишить народ возможности злоупотреблять своей свободой в ущерб достоинству монарха и пользе страны.

Итак, в каких-нибудь три дня Стокгольм признал новый порядок вещей, а благодаря стараниям братьев Густава, действовавших в провинции, этот новый

конституционный строй был установлен и по всей провинции. Тем не менее дела шли не слишком гладко, и Адель с тревогой узнала, что Швеции грозят серьезные осложнения. Дело в том, что до разгона сената там плавенствовали «колпаки», то есть приверженцы англо-русского сближения со Швецией, а Густав был известным поклонником всего французского. Поэтому Англия и Россия очень неодобрительно взглянули на устроенный Густавом государственный переворот и грозили войной. И опять Адель должна была признать, что при таких обстоятельствах Густаву не до нее. Да, полоса неудач не прерывалась, и Адели начинало казаться, что счастье навсегда отвернулось от нее. Но уже близок был тот момент, когда нависшие громады серых туч должны будут разорваться и опять засияет для Адели яркое солнце.

X

Было хмурое ноябрьское утро, и у нас с Аделью шел хмурый, унылый разговор. Не хватало денег для содержания огромного штата прислуги, и мы говорили о том, какие сокращения придется ввести в наш домашний бюджет. Надо было расстаться с половиной лошадей и экипажей, распустить половину прислуги, а если бы можно было быстро и не очень убыточно реализовать обстановку, то лучше всего было бы снять другое

помещение и зажить на более скромную ногу.

К этим выводам меня приводила неумолимая логика цифр. Адель понимала, что я прав, но ей казалось слишком ужасным так резко изменить свою жизнь. Ведь это значило бы надолго, если не навсегда, отказаться от положения львицы и спуститься в низшие слои, где копошатся второсортные «фабины веселья».

— Неужели нет другого выхода? — с тоской спросила она меня. Я только пожал плечами. Но словно провиденциальным ответом на этот вопрос раздался лихорадочный стук в дверь, а затем та раскрылась, пропуская княгиню Дашкову.

Дашкова была бледна и взволнована, но радостный блеск ее умных, подвижных глаз свидетельствовал, что это было волнением не горя, а удовольствия.

— Орлов пал! — сказала она, опуская всякие светские церемонии и даже не здороваясь с нами. — Гюс, можете ли вы оценить по достоинству всю потрясающую силу этих простых, коротких слов: «Орлов пал!»?

Адель, вставшая при появлении гостьи, теперь почти упала в кресло: с известием, принесенным Дашковой, было так много связано для нее, что в первый момент она почувствовала слабость. Старые счета, безвыходность данного момента — все устранилось с этим падением!

— Пал? — глухо повторила она. — Наконец-то!.. Наконец-то судьба сразила это ликое животное! О

накопившего судьба сразила это дикое животное: «О, княгиня! Бывают же такие моменты, когда я начинаю верить в существование высшей божественной справедливости!

Даже слезы выступили на глазах у девушки! «Орлов пал! Орлов пал!» – райской музыкой звучало у нее на сердце.

– Но как это случилось, княгиня? Кто же тот благодетель рода человеческого, которому удалось смирить безудержную гордость всесильного фаворита? – спросила она.

– О, на этот раз тут сделали свое дело время и сердце государыни, – ответила Дашкова. – Вы знаете, до какой степени были безрезультатны все прежние попытки поймать Орлова в западню, а тут это случилось само собой. В последние годы дерзость и наглость Орлова достигли высшего предела. Он стал дурно обращаться с государыней, запугивать ее возможностью нового переворота и требовал, чтобы она вышла за него замуж. Государыне было очень тяжело мириться с таким унижительным положением, но Орлов сумел держать ее в непрерывном страхе. К тому же Екатерина слишком самолюбива, чтобы устраивать какую-нибудь контрпартию, а без этого с Орловым было трудно справиться. Однажды он позволил себе уже слишком многое. Государыня стерпела, не показала недовольства, но через несколько дней почтила его лестным

поручением взять на себя главное руководство мирными переговорами между Россией и Турцией. Орлов, не предполагая худа, отправился в Фокшаны, но уже на другой день его генерал-адъютантские комнаты оказались занятыми другим фаворитом. Орлов узнал об этом, хотел вернуться обратно, но... его подстерегали! Его даже не впустили в Петербург, и царским указом Орлову предписано безвыездное житье в Гатчине...

— Воображаю себе его бешенство! — сказала Адель с диким хохотом.

— О, да! — мрачно улыбнулась Дашкова. — Орлов не мог простить себе, что он так глупо попался в ловушку. Теперь его песенка спета — он сумел слишком надоесть государыне, чтобы она когда-нибудь вернула его к прежней власти!

— Но кто же — счастливцев, занявший место Орлова?

— О, это — полнейшее ничтожество, некто Александр Васильчиков, маленький офицерик. Васильчиков недурен собой, но в умственном отношении так ограничен, что долго в милости ему не продержаться!

— Но как же случилось, что государыня обратила на него внимание?

— Ну, об этом уже постарались орловские недруги! — улыбнулась Дашкова. — Знаете, достаточно учесть психологический момент, и тогда... Около государыни давно никого не было, и удалось устроить так, что

Васильчиков попался ей на глаза несколько раз подряд в исключительно выгодные моменты... Однако вот что, дорогая моя: у меня не так много свободного времени, и потому я спешу передать вам самое главное. Благодаря моим друзьям теперь, с падением Орлова, вспомнили и о нас. Панин сумел вставить в разговор с государыней словечко обо мне, сказал, как я тоскую по родине, и Екатерина милостиво пригласила меня вернуться обратно. Она даже прислала мне собственноручное письмо, где вспоминает о нашей былой дружбе и говорит, что она соскучилась без меня. Кстати, она упоминает там, что вы уже очень долго загостились у себя на родине и что Россия чувствует живейшую потребность как можно скорее вновь насладиться вашим дивным талантом! Так вот, едемте! Сколько времени вам нужно на сборы?

— Но, княгиня... Помилуйте! Ведь мне надо ликвидировать обстановку, ведь...

— Господи, а на что около вас всегда находится верный друг? — перебила ее Дашкова, указывая на меня. — Месье де Бьевр мог бы заняться этим и потом нагнать нас в пути. Дело в том, что я имею поручение от ее величества пригласить в Россию господ Дидро и Фальконэ. Последнему ее величество хочет поручить исполнение кое-каких заказов, а Дидро государыня уже давно жаждет видеть, так как является его пламенной поклонницей. Наш философ немол... да и Фальконэ

тоже. Ну, и я тоже не сгораю особенной жаждой лететь сломя голову, не зная ни сна, ни отдыха. Таким образом мы могли бы ехать не спеша, в интересном обществе!

— Ну, это не так-то интересно! — возразила Адель. — Вы, княгиня, все время будете ухаживать за своим другом, и мне придется довольствоваться постоянным обществом Фальконэ, а я теперь раскусила этого господина и нахожу, что это — такой негодяй, каких мало!

— Но зато, — с улыбкой ответила Дашкова, — некоторое неудобство от личности Фальконэ с лихвой окупится удобством самой езды, которая к тому же не будет стоить вам ничего, так как мне предоставлены от государыни довольно широкие кредиты на это путешествие. К тому же Фальконэ вовсе не так несносен, моя милая, и для дороги... сойдет отлично!

Адель звонко расхохоталась.

— Пожалуй, вы совершенно правы, княгиня! Гаспар может отлично уладить тут все один, а мы тем временем не спеша будем подвигаться к России!

— Ну, вот и отлично! — ответила Дашкова, вставая. — Я уже переговорила с нашими спутниками. Для Дидро именно теперь как раз удобнее всего ехать, а Фальконэ не имеет в данный момент крупных заказов. О дне выезда я извещу вас точно, но это будет не позже, чем через неделю.

дамы расцеловались, и Дашкова ушла.

— Ах, братишка, братишка! — радостно сказала мне Адель, когда мы остались с нею одни. — Как это вовремя и как это хорошо устроилось! Ведь нам с тобой было уже совсем плохо, а теперь опять все будет хорошо. Я с ужасом думала, что придется урезывать себя во всем, а теперь ликвидация становится вполне естественной. Я боялась, что она будет моим поражением, теперь же она явится моим торжеством. Тут-то я заткну плотки всем этим негодяйкам, которые кричат, что меня выгнали из России и что мне нет дороги ни на одну сцену! Ага! Сама русская императрица просит меня вернуться! Я еще покажу вам, мерзавки вы этикие, что такое — Аделаида Гюс! А потом, и сама ликвидация теперь произойдет совсем иначе. Ты можешь не торопиться и продавать не спеша, чтобы не продешевить. Если ты постарайся, то я выручу изрядную сумму денег, которая очень пригодится мне в России на первых порах!

— Адель, — взволнованно сказал я, — я не только постараюсь сделать все, как можно лучше, но, словно цепной пес, готов перегрызть горло за каждый твой денье^[25]. Но только... Ах, Адель, если бы ты выслушала меня, если бы ты исполнила мою просьбу! Не было бы человека счастливее меня...

— Просьбу? — удивилась Адель. — Но в чем дело? Говори, пожалуйста! Ведь ты знаешь, что в пределах

возможности я рада все сделать для тебя! Ну, в чем дело?

– Адель! Отпусти меня! Разреши меня от моей клятвы!..

– Что такое? – крикнула Адель, покраснев.

– Адель! Вот уже десять лет, как я верно и беспрекословно служу тебе. Ты знаешь, у меня нет никакой личной жизни, я отказался от всего, и все мои часы наполнены одной лишь заботой о тебе. На эту заботу ушли лучшие годы моей жизни. Мне скоро тридцать лет, Адель... Пожалей меня! Ведь пройдет еще десять лет, и тогда свобода будет уже не нужна мне... Адель! Пожалей! Отпусти!

– Да ты совсем с ума сошел! – крикнула Адель, с трудом выходя из состояния полного окаменения, в которое погрузила ее моя просьба. – Чтобы я отпустила тебя, когда ты мне так нужен? Да как у тебя язык-то повернулся обратиться ко мне с такой наглой просьбой? А! Пользоваться моей молодостью и неопытностью ты мог, а расплачиваться за это не хочешь? Молчи, молчи! Не смей возражать мне! Негодяй ты этакий! Отпущу я тебя, держи карман шире! Я вижу, что распустила тебя! Ну, погоди! До сих пор ты был мне другом, а теперь будешь рабом. До сих пор я старалась возвысить тебя в глазах общества, а теперь сделаю тебя своим лакеем! Скажите, пожалуйста, наглость какая! Отпустить его! Ну нет, милый мой, положень еще! Чтобы я больше не

нет, слышишь мон, подождешь еще. Тебя я слышать не слыхала от тебя слова «я»! Тебя нет, помни это! Существует только машина, которая будет служить мне, пока я не выброшу ее за негодностью! Понял? Ну, так ступай к себе, дурак, проснись и займись ликвидацией!

XI

Не знаю, стало ли самой Алели стыдно той жестокости, той бесконечной наглости, которую она так ярко проявила в том разговоре, или она просто побоялась, как бы я не стал из чувства мести вредить ее интересам, но только до самого отъезда она обращалась со мной очень ласково и старалась с кощачьей вкрадчивостью опять завоевать мою симпатию. Однако все было напрасно. Адель добилась исполнения того требования, которое поставила мне в конце того ужасного разговора: «Тебя нет, помни это!» После этого разговора я ушел к себе в комнату и несколько часов пролежал на полу перед иконой. Со мной был жесточайший истерический припадок. Когда же я очнулся, я понял, что превращение состоялось: меня больше не было, была только человеческая машина, потерявшая надежду когда-нибудь опять стать человеком...

Это превращение так отразилось на мне, что с тех пор как я в своих черновых кратких записках подошел к

описанию этого периода времени, я уже неоднократно ловил себя на следующем: вместо, например, фразы: «Я без злобы и радости смотрел, как Адель садилась в карету», – у меня было написано не я, а «де Бьевр без злобы и радости смотрел...» и т. д. Возможно, что я не раз буду сбиваться на третье лицо даже и в этих окончательно обработанных записках. Не все ли равно, раз меня больше не стало?..

Итак, «де Бьевр без злобы и радости смотрел, как Адель садилась в карету». Карета тронулась в путь... последние прощания... Затем я так же беззлобно и безрадостно вернулся к своей работе.

А эта работа была немалая. Адель напрасно думала, что я могу пренебречь своими обязанностями в ущерб ее интересам. Если бы я был способен легкомысленно смотреть на необдуманно данную клятву, то я вообще порвал бы сковывавшие меня узы. Однако раз я не порывал их, значит, вытекающие из клятвы обязанности были для меня священны... Впрочем, чего же и удивляться: Адель отчасти судила по себе. Ну, да Бог с ней пока!

Итак, я принялся за работу. Я вошел в соглашение с выдающимся аукционистом Лепренсом. Мы пересмотрели с ним всю обстановку, и он дал мне много ценных указаний, почерпнутых из его большого житейского опыта. Оказывалось, что три панно работы Ватто^[26] пройдут дешевле, чем кровать Адели,

расписанная столь же пестро, как и безвкусно маляром-ремесленником, так как это была кровать шикарной куртизанки... Затем, например, оказывалось, что не только нельзя бросать старые чулки и ношеное белье Адели, а надо прикупить новый запас этих частей дамского туалета и придать им несвежий вид: каждая вещь пройдет по сумасшедшей цене, так как дамы будут отбивать их друг у друга. Еще бы! Ведь по странному суеверию считалось, что белье, бывшее некоторое время на теле женщины, имевшей успех у мужчин, может принести другой женщине «победоносные» свойства, а на том «пиру во время чумы», который свирепствовал тогда во Франции, любовные победы были дамам дороже всего.

Сообразуясь с практическими указаниями Лепренса и пользуясь его непосредственной помощью (Лепренс был заинтересован крупным процентом), я составил систематический каталог. Затем были расклеены объявления о дне аукциона и приглашено около десяти писцов, занявшихся перепиской каталога. Да, я совсем забыл упомянуть, что Лепренс посоветовал назначить довольно крупную входную плату для желающих посетить аукцион. Я думал, что это может помешать собраться на аукцион достаточному количеству желающих, но — что бы вы думали? — ведь для желающих не хватило ни места, ни билетов!

Если бы вы только видели, какая масса женщин

Если бы вы только видели, какая масса женщин устремилась на этот аукцион, может быть, вам стало бы понятным, почему монархическая Франция должна была погибнуть! Хотя у большинства посетительниц были надеты тройные вуали, но их все же узнавали в самом скором времени. Так вот те самые герцогини и маркизы, крепостные крестьяне которых пухли с голода, тратили сумасшедшие деньги на приобретение разных глупостей, суеверно связанных с успехом у любовников!

Лепренс действовал великолепно. Как знал этот человек свою среду и свое общество! Между прочим, он оказался совершенно прав: три панно Ватто вместе с некоторыми действительно художественными произведениями искусства остались непроданными и были сданы мною на комиссию, а кровать Адели пошла по тройной цене против назначенной!

Аукцион продолжался около пяти дней, потому что из-за каждого пустяка торговались подолгу. Когда же он кончился, то для Адели после расчета с Лепренсом и слугами осталась такая крупная сумма денег, на которую она даже не могла рассчитывать. Конечно, я воспользовался случаем, чтобы взять себе жалованье, не получаемое мною уже более полугода.

Справившись со всем этим, я направился вслед за Аделью в Россию. Я прибыл туда всего только на несколько дней позднее ее; ведь я ехал на перекладных и не сибаритничал так, как эта компания!

Между прочим, приехав в Петербург, я убедился, что Адель без меня действительно не могла обойтись. Она не смогла найти себе помещение, жила в доме у Дашковой и сейчас же поручила мне заняться этим. Встретила она меня очень приветливо, видимо, была рада мне и с довольным видом рассказала о любезном приеме, который имела у ее величества. Ее первый выход – рассказывала она мне – состоится на парадном спектакле французской труппы, который назначен в эрмитажном театре в честь приезда Дидро.

Мне тоже пришлось побывать на этом спектакле благодаря любезности княгини Дашковой, которая почему-то считала, что мне это очень интересно. В маленькой ложе справа, у самой сцены, сидела государыня с Дидро, в левой – граф Панин и вице-канцлер, граф Голицын. В остальных ложах сиял полным составом весь иностранный дипломатический корпус. Тут были чрезвычайный министр Австрии, князь Лобковиц, прусский посланник граф Сольмс, шведский посланник граф Поссе, французский посол Дюран, английский посланник сэр Геннинг и голландский – граф Рехтерн с датским поверенным в делах, полковником Нуммезеном. Кроме того, разумеется, здесь же собрался весь цвет ближайших придворных.

Спектакль удался на славу, и Гюс удостоилась почетного приглашения в царскую ложу, где Екатерина

милостиво беседовала с нею. После спектакля императрица повела Дидро по Эрмитажу, чтобы показать некоторые новые приобретения, сделанные для ее коллекции корреспондентами. Когда она показала Дидро картины, купленные по ее поручению бароном Гриммом из коллекции покойного герцога Шуазеля, и сообщила, что Гримм сумел заплатить за них «всего только» 340.000 ливров, Дидро с трудом подавил усмешку: ему, как человеку близкому к кружку «Каво», было известно, что на самом деле Гримм заплатил за эти картины только триста тысяч, а сорок тысяч пошло на удовлетворение каких-то неотложных надобностей прожорливой Паскалины Фель. Еще труднее ему было подавить улыбку, когда Екатерина с торжеством показала ему «подлинную» гробницу Гомера, найденную кем-то из русских адмиралов на каком-то острове Архипелага и привезенную в подарок Екатерине. Действительно, можно было только пожать плечами от смелости адмирала, желавшего выслужиться, и наивности Семирамиды севера, претендовавшей на величайшую и универсальную образованность.

Но если гробница Гомера и была не совсем подлинной, то того же нельзя сказать о роскоши ужина, последовавшего за осмотром художественных ценностей царской коллекции. Тут Екатерине действительно было чем блеснуть, и Дидро потом жаловался своей интимной приятельнице Лапковой что подобные

ужины являются просто покушением на человеческое здоровье и благоразумие.

Нечего и говорить, что ни Адель, ни я на этот ужин приглашены не были. Об этом не могло быть и речи, и если я и присутствовал на спектакле, то тайно, находясь в укромном уголке. Ведь это было не обыкновенное эрмитажное собрание, а парадный вечер, устроенный в здании Эрмитажа.

Но нечего и говорить, что ни я, ни Адель об этом вовсе не думали. Я все более замыкался в себе, все механичнее относился к внешним проявлениям жизни и уже вовсе не тянулся к большому свету. А Адель интересовало совсем другое: настолько ли велик ее сценический триумф в этом первом выступлении, чтобы опять она могла сразу занять выдающуюся роль светской львицы первого ранга? Ведь она знала, что общество так же часто забывает прошлые заслуги и успехи, как редко забывает бывшие неудачи, и что всякое положение в обществе, однажды серьезно скомпрометированное, впоследствии почти никогда не восстанавливается. После истории с Орловым «сливки общества» резко отвернулись от Адели, и, как помнит читатель, ей понадобился весь ее действительно великий талант, чтобы вернуть себе хотя бы сценическое внимание зрителей.

Правда, эта история была уже в прошлом, сам

Орлов в это время успел пасть, и теперь общество уже смеялось над ним. Правда и то, что государыня успела в короткое время оказать артистке много внимания, а в мире виверов-придворных степень внимания или невнимания монарха к кому-нибудь служит ветром для жизненного флюгера. Но зато в первый приезд Гюс была моложе почти на десять лет, и именно ее обманчивый вид наивной девушки-подростка обеспечивал ей больший шанс на успех, чем внешность той пышной, цветущей женщины, какой она выглядела теперь. К тому же тогда она была почти «вне конкурса», а теперь в Петербурге было немало талантливых и красивых женщин, расположение и внимание которых оспаривалось наперебой. И Адели было не так-то легко сразу выдвинуться из-за таких конкуренток, как, например, Катарина Габриелли, певица с мировым именем, любви которой иной раз безуспешно добивались венценосные особы и об остроумных словечках которой говорили во всех салонах.

Все эти соображения сильно нервировали Адель. Она понимала, что завоевать свое прежнее место можно только одним ударом, только сразу, только первым же выступлением. Удалось ли ей это? Этого она не знала вплоть до окончания спектакля, когда к ней в уборную, осторожно оглядываясь, вошел Аркадий Марков.

— Одно слово, божественная! — посмеиваясь, сказал он, нагибаясь, чтобы поцеловать руку Адели. —

Компания очень милых людей, обрадованная возвращением к нам нашей обожаемой дивы Гюс, поручила мне просить вас удостоить наш товарищеский кружок вашим посещением...

За то время, которое Адель провела в Париже, Марков довольно сильно изменился. Он пополнился, стал солиднее, увереннее в движениях, и его голос приобрел чисто барские, грассирующие раскаты. Кроме того, он и вообще-то играл в жизни Адели такую второстепенную роль, что немудрено, если в первый момент она не узнала его. Он заметил ее удивленный взгляд, понял причину ее удивления и поспешил добавить:

— Боже мой, да вы, кажется, не узнали меня? А ведь я — Аркадий Марков, тот самый Аркадий Марков, который был когда-то подставным другом вашего сердца и всегда хотел стать истинным! Так могу ли я рассчитывать на ваше согласие?

Разумеется, я говорю не о посвящении меня в истинные друзья вашего сердца — это было бы слишком преждевременно, — а только о вашем участии в нашем бесхитростном ужине! — сказал он засмеявшись.

Нечего и говорить, что Адель дала это согласие, как охотно дала бы и то, которое Марков считал «преждевременным». Его приглашение доказывало ей, что ее акции котируются достаточно высоко, а некоторое обстоятельство, явившееся следствием этого ужина, еще более утвердило ее в этом мнении. На

следующий же день Адель принялась ошипывать перышки у богатого, немолодого, простоватого генерала Мелиссино.

XII

И опять началось беспечальное прожигание жизни. Скоро Мелиссино отступился от Адели, испуганный ее разорительными привычками, но на смену ему уже стоял целый десяток кандидатов, которые, подобно пряникам из детской сказки, наперебой кричали: «Съешь меня, пожалуйста! Попробуй, какой я вкусный!»

И Адель без зазрения совести принялась «пробовать» их одного за другим, выбирая пряники послаще и покрупнее. Я только-только успевал записывать в приходные книги поступавшие суммы.

Среди этого бесконечного ликованья до Адели время от времени доходили вести о различных выдающихся событиях; иной раз эти события, не имея никакого общественного значения, должны были бы глубоко задеть Адель лично, но все это скользило по ней, затрагивая ее только в том случае, если что-нибудь нарушало ее интересы.

В 1773 году состоялся первый раздел Польши, и, словно в наказание за это, на Россию нахлынуло бедствие «пугачевщины». Яицкий казак Емельян Пугачев

самозванно принял имя царя Петра III, якобы избежавшего смерти, скрывшись среди верных казаков, и теперь призывавшего «православный народ» вступить за его попранные права. Пугачев наделал много бед и нанес не одно поражение регулярному русскому войску. Он даже чуть-чуть было не взял Москвы, но тут единомышленники выдали его. Успехи этого дикого казака особенно замечательны потому, что самый серый мужик не мог сомневаться в самозванстве «Емельки Пугача» – уж очень неотесан, груб и прост был этот «царь». И все-таки за ним шли.

Если бы Адель была способна думать о чем-либо, то она поняла бы, что возможность подобных явлений была тесно связана с возможностью открытого и наглого процветания таких особ, как она. Народ шел за Пугачевым не потому, что верил в его царский сан, а в силу законного и глубокого недовольства существующими условиями. А это недовольство вызывалось тем, что деньги, высасываемые из мужиков-хлебопашцев их господами, шли на Адель и ей подобных. Мужики работали и голодали – баре сыпали золотым дождем на развратниц. У мужика не было целого зипуна, а Потемкин щеголял в камзоле с бриллиантовыми пуговицами и одаривал своих возлюбленных золотыми туфлями. Вдобавок ко всему с мужиками обращались невыразимо жестоко, и, несмотря на полное потворство помещикам со стороны местных

властей, то и дело возникали возмутительнейшие дела об истязаниях. Если ближе к столице помещики все-таки смирляли свой нрав, так как всем было известно, как строго карает императрица Екатерина помещиков-истязателей, то вдали от центра творилось Бог знает что. Какая-нибудь развратная «барская барыня»^[27] из немок или француенок беспутничала на глазах у обездоленных крестьян и принимала живейшее участие в травле их. Таким образом крестьяне самых отдаленных уголков России знали, почему именно им плохо и на что идут заработанные их кровью и потом денежки. Мудрено ли, что они пользовались всяким предлогом, чтобы поднять знамя бунта? Мудрено ли, что даже Емелька Пугачев был способен оказаться в их глазах царем, если с этим признанием связывалась надежда на улучшение и облегчение их положения?

В России отлично понимали истинную подкладку этого явления, и Екатерина сама искренне тревожилась и волновалась. Но что за дело было до ее волнений кружку развратных сластолюбцев, окружавших Адель, и какое дело было Адели до нужд, терзаний и бед чуждой ей страны?

В следующем году (1774) из Франции пришло известие о смерти Людовика XV и вступлении на престол Людовика XVI. Было что-то грозное, мрачное, предостерегающее в той дикой радости, с которой народ встретил смерть Людовика «Возлюбленного» в тех

надеждах, которыми он окружал приветствия новому королю. Именно в этом народном настроении отчетливо сказались явные раскаты близившейся бури, возмездия, которое неминуемо когда-нибудь последует за «пиром во время чумы». Но и это известие не тронуло Адель и ее кружок. Впрочем, у Адели в этот момент были свои заботы, связанные с выбором нового ассортимента «пряников». Думать и прислушиваться к тому, что делалось во Франции или в России, ей совершенно не хотелось. Зато она особенно внимательно присматривалась к шведским делам, особенно после того, как кто-то в ее присутствии сказал:

– Король Густав осчастливил новой конституцией не Швецию, а хорошеньких женщин!

Действительно, одним из существеннейших пунктов шведской конституции 1772 года было предоставление королю права свободного распоряжения финансами, а так как сейм мог рассматривать только те вопросы, которые предлагались ему для обсуждения королем, то никаких запросов, а следовательно, и народного контроля над расходом государственных денег быть не могло. Король в значительной степени использовал это право для насаждения в Швеции изящных искусств. Но мы уже упоминали не раз, что если Густав III любил искусство, то жриц его он любил еще больше. Поэтому шведская

пресса, которой была оставлена широкая свобода слова, то и дело выносила на свет Божий одну пикантную историю за другой, разглашая те суммы, которые переходили в руки всевозможных звезд парусинного неба в поощрение их искусства... любить!

Свобода и щедрость, с которой Густав распоряжался шведскими деньгами, не могли не обратить на себя внимания Адели, а то, что вопреки сладким парижским обещаниям король и не подумал вспомнить о ней, не могло не тревожить ее. Почему в самом деле он не вспоминает об Аделаиде Гюс? Пусть прежде у него было слишком много забот; но находится же у него теперь достаточно досуга, чтобы не только заниматься театральным строительством, не только привлекать в Стокгольм драматические и оперные труппы, но и самому писать трагедии и оперы!

А главное — забыть о ней он не мог. Благодаря довольно широко развившемуся интересу шведского общества к театру, в местных газетах уделялось большое место театральной хронике, где сообщалось о всех выдающихся событиях европейского театрального мира. Не раз в шведских газетах подробно описывалось, с каким грандиозным успехом Аделаида Гюс провела ту или иную роль в петербургском театре. Значит, Густав не забыл, не мог забыть о ее существовании, а просто не хотел вспоминать. Но почему? Узнать это — значило бы найти средство устранить помеху. Ведь помеха должна

была быть, иначе это было бы необъяснимым.

Так оно и оказалось. Однажды – это было в 1775 году – Адели доложили, что ее желает видеть какой-то господин, имеющий крайне важное дело и не могущий назвать себя.

Подумав, Адель все же решилась принять таинственного посетителя, но на всякий случай в соседнюю комнату посадила вашего покорного слугу, Гаспара Тибо Лебеф де Бьевра, в качестве телохранителя. Ведь в ту пору с соперницами не церемонились, а у особы, подобной Адели, их было без числа.

«Таинственный незнакомец» вошел, и, к удивлению Адели, им оказался шведский посланник, граф Поссэ.

– Боже мой, это вы, ваше сиятельство! – удивленно вскрикнула Адель.

– Бога ради, тише! – ответил Поссэ. – Я явился к вам от имени очень высокопоставленной особы, имя которого вы узнаете из этого письма! – и он подал Адели тщательно запечатанный пакет. – Мне поручено передать вам письмо и просить вас сохранить все это дело в строжайшей тайне!

– Вероятно, вам поручено также принять мой ответ, граф? – спросила Адель.

– О, нет, относительно ответа мне ничего не было поручено, – ответил тот.

– Все же я попрошу вас обожать, пока я прочту

письмо: быть может, из текста его явствует необходимость ответа, — заметила Адель и, вскрыв письмо, стала пробегать его глазами. — Да, да, — сказала она затем, — ответ необходим, и будьте добры сказать мне, граф, каким образом мне удобнее вручить вам его для соответственной передачи?

— Но... я, право, не знаю... — с видом крайнего замешательства ответил посланник. — Мне кажется... насколько я понимаю... ответа вообще не ждут, и могу ли я взять на себя передачу...

— Граф Поссэ! — резко отчеканила Адель. — Возьмете ли вы на себя ответственность за то, что произойдет, если ответ будет послан обычным путем и подвергнется перлюстрации где-нибудь по дороге? А ответ будет послан все равно! Поняли?

Посланник недоуменно развел руками и принужден был согласиться, что Адель совершенно права. Тогда ему оставалось только указать, каким образом и когда удобнее всего вручить ему для передачи тот ответ, который напишет Адель.

Когда посланник ушел, Адель еще раз внимательно перечитала письмо, гласившее:

«Прощайте, Адель! Прощайте Вы, которая когда-то казалась такой близкой моему сердцу! С какой бесконечной болью, с каким невыразимым страданием пишу я это слово «прощай!», когда всем сердцем, всем

существом мне так хотелось бы крикнуть Вам: «Приди!»... Но так нужно, того захотела судьба... О, Адель, какому злему духу надо было, чтобы Вы так низко пали?

Бога ради... Не обижайтесь, не сердитесь, не морщите нетерпеливо своих очаровательных бровей! Выслушайте меня сначала и поймите, если можете!

Это было четыре года тому назад, когда я встретил Вас в Париже. С первого взгляда, с первого слова я глубоко и нежно полюбил Вас, и именно потому, что моя любовь была так глубока и нежна, я не решался высказать ее Вам. Я боялся, что Вы примете признание за бесцеремонность принца, который считает, что всякая женщина должна принадлежать ему по первому знаку.

И вот я стал робко и почтительно искать Вашей дружбы, зорко присматриваясь, не блеснет ли и в Вашем сердце отзвук того чувства, которое так полновластно воцарилось во мне. Однажды я получил основание думать, что это эхо любви зазвучало в Вас, но судьбе было угодно, чтобы в тот момент, когда признание уже было готово сорваться с моих уст, мне принесли известие о смерти моего отца...

Я не мог думать о своей личной жизни в тот момент, когда передо мной встал суровый призрак долга, призывавшего к государственной работе. И так случилось, что я уехал, не сказав Вам о своей любви, обещав в то же время дать Вам весточку о себе, как

только это окажется возможным. Вы поняли, что эта весточка должна была состоять из одного слова «приди!». О, Вы можете верить мне, Адель: это слово казалось и мне самым отрадным, самым сладким, самым восторженным из всего словаря Вашего звучного, дивного языка!.. И все же я говорю Вам не «приди», а «прощай»...

Что же делать, так хотела судьба... Я не смею сказать, что Вы обманули меня, но что я сам обманулся в Вас, это для меня непреложная истина. Да, Адель, Вы – не то, чем я считал Вас, да и были ли Вы когда-нибудь тем светлым образом, который сложился в моем представлении? Как хотелось бы мне верить, что да, и как трудно поверить в это!..

Быть может, до Вас дошли вести о том, как с опасностью для жизни я произвел в своем отечестве монархический переворот, вернувший трону узурпированные у него права. Это было именно той задачей, которая в прошлом отодвигала от меня мечты о личном счастье, и, только исполнив свой долг по отношению к себе самому, своим потомкам и памяти моих предков, я уже мог обратиться к своей мечте.

О, если бы Вы могли видеть, с каким невыразимым чувством сладкого ожидания я взялся за перо, намечая те театральные реформы, которые в моем плане государственного строительства стояли непосредственно за политическими. Чтобы немного

поддразнить себя, чтобы отложить под конец самое сладкое, я взялся сначала за оперу и балет. Только потом пришел черед драме. И с каким трепетом я вывел на первом месте имя Аделаиды Гюс!

Но Вы должны себе представить мой ужас, когда, посмотрев на этот список, компетентное лицо сказало мне:

— Вы хотите пригласить в труппу Аделаиду Гюс? Неужели вы не боитесь за нравы нашего доброго старого Стокгольма? Это — особа с большим талантом, но...

И тут полились рассказы за рассказами, от которых у меня заledenела душа. Я не хотел верить, я отказывался, не мог поверить; я всем сердцем хотел считать все рассказанное мне лишь клеветой. Но тогда мне предложили проверить эти «сплетни», указав на способ сделать это. Я обратился к проверке, и она обнаружила, что мой собеседник на самом деле был плохо осведомлен, так как действительность оказывалась еще хуже, еще непригляднее, чем то, чему я отказывался верить...

Ах, Адель, Адель, зачем Вы так безжалостно обманули меня! Ведь уже в то время, когда я... Но нет, к чему упреки! Разве ими поправишь что-либо! Разве ими уменьшишь хоть на йоту мои страдания! А я так страдаю, так страдаю... Впрочем, к чему Вам знать об этом, Вам, которая закружилась в вакхическом угаре чувственных удовольствий? Какое Вам дело до страданий

удовольствием: какое Вам дело до страданий несчастного короля, который чувствует себя таким одиноким, таким бедным...

Прощайте, Адель, прощай и ты, мечта моя! Я мог бы быть счастливым, но рок не захотел этого. Что же делать! Спасибо – редкая гостья тронов... Прощайте, Адель! Я не жду от Вас ответа. Он не нужен – о чем нам говорить, что нам выяснять? Прощайте, и примите последний привет от того, который мог бы и хотел бы быть Вашим Густавом».

А вот ответ, который переслала Адель шведскому королю через графа Поссэ:

«Ваше величество! Вы не ждете ответа, и все же Вы получите его. Конечно, весьма возможно, что Вы не удостоите прочитать мое письмо. У Вас может не найтись для этого свободного времени, так как выслушивание и проверка сведений о нравах и нравственности приглашаемых в Стокгольм актрис, конечно, отнимает у Вашего Величества все часы досуга. Кроме того, человек так уж устроен... я надеюсь, что Вы не найдете ничего непочтительного в этом утверждении, будто и король в конце концов – только человек?.. Итак, человек так уж устроен, что его превращение, например, из графа Готского в шведского короля отражается на его отношении к миру и людям. И то письмо, которое прочел бы граф, будет оставлено без внимания королем... Но я надеюсь на счастливый

случай, который все же даст возможность Вашему Величеству ознакомиться с содержанием письма развратной актрисы Гюс, и потому пишу его.

Итак, в чем же, собственно говоря, все дело? Восстановим его в его истинных, неприкрашенных формах.

Жили-были граф Готский и актриса Гюс. Графу угодно было обратить внимание на актрису, и он решил пошалить с нею. Но в тот момент, когда граф приступил к этому почтенному занятию, он узнал, что стал королем. Шалить было некогда, предстояло заняться важным делом. Граф-король поспешил уехать; но так как он видел, что его шалость уже успела нанести несколько чувствительных ран сердцу актрисы, то он смазал эти раны маслицем заманчивых обещаний. Никто не требовал этих обещаний, они были даны в припадке нервической радости при виде короны, ниспавшей на высокую главу графа. И, чтобы избавиться от последствий данного слова, чтобы не нарушить святости королевского слова, на развратную актрису был возведен ряд обвинений...

Но помилуйте, Ваше Величество! Кто же предъявлял к Вам какие-либо требования? Кто же ждал исполнения случайно оброненных обетов? Вот уже совершенно не к чему было огород городить! Если бы дело было только в этом, я и не подумала бы отвечать Вам. Но Вы приводите определенные мотивы, Вы

взводите серьезные обвинения... Это я уже никак не могу оставить без ответа!

Вы исходите из того, что я «обманула» Ваше Величество! Однако в данном обвинении я не вижу главного — доказательств. Мне, как женщине, сталкивавшейся с людьми всевозможного ранжира, известно, что в основу современного всемирного культурного кодекса положено правило древних римлян: «Да будет выслушана и противоположная сторона!» Известно мне также, что судебному учету подлежит лишь именное, а никак не анонимное обвинение. Между тем Вы, Ваше Величество, постановляете приговор, не выслушав обвиненной стороны. Мало того, приводя обвинение. Вы не называете свидетелей-обвинителей... «Мне сказали», «Проверив сведения, я увидел»... Но, Ваше Величество, важно знать, кто сказал и чьим посредством совершена проверка! Нельзя же основываться на одних лишь слухах. Известно, что о всяком лице, занимающем известное положение в мире, их распускается слишком много, и Вашему Величеству, как королю, да еще вдобавок такому, о котором не только заграничная, но и отечественная пресса не устает рассказывать скандальные анекдоты, это должно было бы быть хорошо известным. И более чем неосторожно (я не хочу употреблять резких выражений) пользоваться для обвинений подобным сомнительным источником. Я могла бы быть чище воды и белее снега — все равно это

могла бы быть лишь водой и белес слеза, — все равно это не избавило бы меня от сплетен.

Но я и не думаю соперничать в чистоте и белизне со снегом или водой. Сколько раз я при личном свидании называла себя развратной, сколько раз я жаловалась графу Готскому на роковую неизбежность моей жизни! Это — обман? И виновата ли я, что графу Готскому, до его превращения в короля, угодно было упорно не признавать моих признаний в нечистоте жизни?

Итак, обмана в смысле желания скрыть действительность не было. В чем же он? Быть может, в том, что, подав, как угодно намекнуть Вашему Величеству, надежду на взаимность, я не осталась верной памяти графа Готского? Но человек не может быть ответственным за то, что он делает до встречи с другим человеком. Точно так же не может быть и речи о верности тому, кто так пренебрежительно отталкивает от себя любящее сердце, как это сделал граф Готский с развратной актрисой Гюс. Так в чем же дело и в чем обман?

На этот вопрос Вы не ответите, Ваше Величество, потому что на него... нечего ответить! Вы сами знаете это... Так к чему же было «огород городить», повторяю? Ведь я не предъявляла никаких требований. Так оставьте меня жить с моим действительным разочарованием, как Вашему Величеству приходится жить с вымышленным!

Не буду оправдываться — мне это не нужно. Но ради счастья тех несчастных женщин, в жизни которых Ваше Величество будет играть роль, считаю необходимым рассказать то, чего Вы, очевидно, не знаете: как совершается падение таких женщин, как я.

Это происходит очень просто. С первых шагов актрисы на подмостках она наталкивается на то, что общество считает ее своей добычей. Молодая, привлекательная актриса не смеет думать о личной жизни, она должна служить хищническим аппетитам мужчин. Если она воспротивится этому, она не услышит ни одного хлопка, не получит ни выигрышной роли, ни выгодного ангажемента. А когда общество развратит актрису, оно начинает кричать о развратности театрального мира, забывая о том, что окружает хотя бы их собственный семейный очаг.

Что же делать? Забывая себя, откидывая прочь женское достоинство, актриса подчиняется создавшемуся положению вещей. Тогда обыкновенно является какой-нибудь важный барин, например граф Готский, который начинает, следуя нашему закулисному выражению, «крутить любовь».

Как ни развратны актрисы, но они наивны, они не могут отделаться от глупой мысли, что и на их долю выпадет когда-нибудь светлое счастье искренней любви. Они начинают жить этой химерой, как вдруг... сладкоречивый барин исчезает, даже не подумав

обставить поприличнее свой уход. В лучшем случае глупой актриске пишут письмо и шлют подарок. Кстати, я еще не имела случая поблагодарить Ваше Величество за изящный и ценный парюр, полученный мною от графа Готского вместо обещанного прощального визита. И вот наивная актриса шлепается с высоты обратно в родную грязь. И такая злоба охватывает ее от пережитого разочарования, что она уже не пытается встать, а, наоборот, еще глубже зарывается в тину жизненного болота.

Вот как совершается падение женщины. Мне кажется, что Вашему Величеству будет полезно узнать это. Ради этого я только и пишу настоящее письмо.

В конце Вашего августейшего письма Вы, Ваше Величество, прибавляете, что не ждете от меня ответа. Ну, а я заканчиваю свое письмо покорнейшей просьбой ни в коем случае не продолжать этой переписки. Я и так пострадала и не хочу страдать еще больше. Ведь я уже справилась со своим разочарованием, оно затаено в самой глубине моего сердца, а эта бесцельная переписка способна лишь оживить страдания, не давая ни малейшего утешения.

Ваше Величество! Среди Ваших венценосных предков были воины и миролюбцы, злые и добрые правители, умные и неумные люди. Но все они были рыцарями. Будьте же рыцарем и Вы! Оставьте меня в покое и не увеличивайте моих и без того глубоких

терзаний. Я хотела бы забыть о графе Готском! Он умер, не воскрешайте его призрака и забудьте о покорной слуге Вашего Величества, развратной актрисе Аделаиде Гюс».

XIII

Запечатав и отправив это письмо, Адель потянулась и сказала со злым смешком:

– Поборемся еще, ваше величество! И погодите, дорого вы заплатите мне за это! Я заставлю вас ползать у своих ног, и не будет такой большой чаши унижений, которую вы не выпьете из моих рук!

Затем она отправилась к княгине Дашковой.

Та, конечно, приняла ее крайне любезно.

– Я к вам с огромной просьбой, княгиня, – сказала Адель. – Скажите, ведь вы все еще в прежних хороших отношениях с министром иностранных дел?

– С графом Паниным? Гм... В достаточно хороших, но не в прежних! – ответила Дашкова, весело рассмеявшись.

– Но все же ваши отношения достаточно хороши, чтобы вы могли узнать от графа кое-что, для меня очень важное и не составляющее государственной тайны?

– Смотря по тому, что именно...

– А вот следующее: правда ли, что русское

правительство соириается переменить своего посла при шведском дворе?

— О, это я могу сказать вам и без Панина! Да, это — правда!

— И правда ли, что на этот пост предполагают назначить Аркадия Маркова?

— И на этот вопрос я могу вам ответить без Панина. Но сначала я хотела бы знать, для чего вам это нужно?

— Да... видите ли, княгиня... Марков добивается моей любви...

— Ну и что же?

— Ну, а я нахожу, что в данный момент он еще не может окружить женщину достаточным комфортом. Конечно, кое-какое состояние у него имеется, но все же... если он получит такой важный пост, то...

— То это смягчит жестокое сердце прекрасной Гюс? В таком случае я могу сообщить вам, милочка, что Марков уже назначен шведским посланником! Но как же будет с театром? Разве вы не возобновите контракта?

— Нет, княгиня. Я нахожу, что вообще не следует подолгу играть на одной и той же сцене. А кроме того, я устала и хочу отдохнуть...

— Вот как? Значит, вы твердо решили уехать? Это очень жаль, милочка!.. Не скоро Россия увидит вторую Гюс!

Дашкова наговорила Адели массу комплиментов. Выслушав их, Адель поспешила отделаться от любезной

княгини и вернуться домой: надо было скорее плести свои сети.

Ее план был прост и остроумен. Упускать такого «карася», как Густав III, ей не хотелось, но завлечь его в свои тенета было возможно лишь при личном свидании. Между тем, как добиться этого свидания? Поехать в Швецию ни с того ни с сего было бы неумно, так как имело бы явно предумышленный вид, а ничто так не губит самых остроумных планов, как преждевременное обнаружение их цели. Отличный случай провести намеченную интригу представлялся в принятии предложения Маркова, если была правда в слухе о его назначении на пост шведского посла.

Поджидая Маркова, который должен был прийти вечером, Адель с наслаждением думала о том, как она встретится с Густавом III. Она еле-еле поклонится ему и с холодным презрением отвернется от него. Это заденет короля, он будет добиваться объяснения, она станет сначала всеми силами уклоняться от этого. Когда же Густав дойдет до надлежащей точки кипения, ей будет уже не трудно сразу повергнуть его — очень влюбчивого — к своим ногам. А тогда... ну, берегись тогда, Густав! Словно раб, будешь ты пресмыкаться во власти опытной Аделаиды Гюс!

Пришел Марков, и Адели было очень нетрудно заставить его повторить свое предложение, которое он сделал ей неделю тому назад полшутя, так как боялся,

что оно будет отвергнуто. Тогда Адель также полушутя уклонилась от категорического ответа; но она отлично понимала, что под шуткой таилось серьезное желание. Просто Марков был чрезмерно самолюбив и боялся смешного положения. Между прочим заметим здесь, что щекотливое самолюбие Маркова послужило впоследствии немаловажной причиной ухудшения отношений между Швецией и Россией. Из-за оскорбленного самолюбия Марков обострял положение и извращал истину в своих донесениях.

Конечно, Маркову и в голову не могло прийти, какие мотивы на самом деле руководили Аделью. Будучи преувеличенного мнения о своих достоинствах, он приписал ее согласие своей неотразимости и чувствовал себя очень довольным и гордым. Его удовольствие было настолько велико, что Адели удалось без всякого труда добиться согласия на то, чтобы ее сопровождал в Швецию ваш покорный слуга. При других обстоятельствах Марков, наверное, воспротивился бы этому; да и, действительно, это вечное состояние при особе госпожи Гюс какого-то де Бьевра возбуждало немало насмешек. Но тут он чувствовал себя бессильным отказать Адели в чем бы то ни было, и так случилось, что мое рабство было продлено снова на неопределенный срок.

Перед отъездом в Швецию Марков имел продолжительную аудиенцию у императрицы. Ему было приказано вести там мирную, но твердую политику. Следовало тщательно избегать поводов для военного конфликта, так как Густав рвался к войне с Россией; но сама Россия только что ликвидировала турецкую войну, и ей надо было немного отдохнуть. Однако достоинство России не должно было страдать. Но ведь в том-то и заключается искусство дипломата, чтобы уметь сохранить мир, ничем не поступаясь.

Кроме того, Маркову были предначертаны некоторые реальные планы. В прежнее время Россия и Англия действовали дружно и совместно при шведском дворе, но в последний период между этими странами возникли разногласия, и Россия хотела «пощипать» коварных «просвещенных мореплавателей» в области политического влияния. Для этого Маркову надлежало добиться заключения тайного союза между Швецией и Россией для совместных действий против Англии. Правда, сама Швеция логикой вещей должна была радоваться всякому унижению Англии. Густав III был страстным поклонником и искренним другом Франции, которая имела слишком много старых и свежих счетов с Англией. Но зато сам он имел свои счета и с Россией тоже. Вот почему было не так-то легко склонить его к

союзу, хотя бы этот союз и был направлен против врага.

Кроме того, Маркову надлежало следить неусыпным оком за военными приготовлениями Швеции, чтобы Россия не была застигнута врасплох. Словом, этому чванливому, самонадеянному и не особенно даровитому дипломату были поручены такие важные дела, с которыми ему было не под силу справиться.

Важность инструкций и обширность полномочий сделали то, что Марков надулся еще более и являл собой отличный образец роскошного индюка. Его сборы в Швецию отличались необычайной торжественностью и тщательностью: он только и думал о том, как бы каким-нибудь упущением не уронить там своей высокой особы.

Адель очень широко использовала эту черту его характера, заставляя своего дружка покупать ей много всякой всячины. Она ловко намекнула, что могут подумать, будто у русского посла не хватает состояния, чтобы окружить свою подругу достаточной роскошью, и, пользуясь этим, накупила себе за счет Маркова массу туалетов и драгоценностей.

Наконец настал день отъезда. На бриге, предназначенном для переезда Маркова в Швецию, был устроен прощальный обед, на который были приглашены друзья. Пировали на славу, тост следовал за тостом, пожелание за пожеланием. Но вот пробил колокол, провожающие сошли на берег, красавец-бриг

распустил паруса, и судно плавно двинулось к морю.

Стоя на палубе, Аделаида Гюс задумчиво смотрела на исчезающий вдали Петербург, который она покидала навеки. Паруса трепетали, пощелкивали, ветер посвистывал в реях, слышалась методическая команда... Бриг быстро уносил Аделаиду Гюс из страны, где она была возлюбленной всесильного фаворита, туда, где ей предстояло подняться еще выше; туда, где ей предстояло стать самой фавориткой, строгой, требовательной и капризной госпожой венценосного раба, его величества Густава III Шведского.

notes

Примечания

1

Большая Сивушная улица.

2

Дословно: «красота дьявола»; это выражение означает, что женщина привлекательна не

действительной строгостью линий, а молодостью, свежестью и хорошим сложением.

3

Абелар — известный богослов XI века, прославившийся не столько своими сочинениями, сколько любовными перипетиями с девицей Элоизой, племянницей каноника Фульбера. Отношения Абелара к Элоизе были сильно идеализированы, и имя Абелара получило распространенное значение символа подавления страстей ради богоуглубленности духа. Но исторические данные не вполне оправдывают это отождествление Абелара с Прекрасным Иосифом. Так, вполне доказано, что Абелар выкрал Элоизу из дома дяди, что Элоиза вскоре после этого родила сына и что Фульбер в наказание за растление племянницы приказал оскотить Абелара. Конечно нечего удивляться, если после этого отношения Абелара и Элоизы оставались совершенно чистыми.

4

Бальтазар Галуппи, венецианец, был известным композитором и виртуозом на клавесине. Шестидесяти лет от роду он приехал по приглашению императрицы

Екатерины в Россию, где управлял придворным оркестром. В Петербурге особенным успехом пользовались его оперы «Покинутая Дидона» и «Деревенский философ». Между прочим, Г. был учителем Бортнянского. Управляя некоторое время придворной певческой капеллой, Г. и сам написал несколько духовных православных композиций.

5

По мифологии, олимпийские боги питались амброзией, которую запивали нектаром. Амброзия имела свойство сохранять богам вечную юность и бессмертие.

6

Марк Туллий Цицерон – знаменитый юрист и оратор, живший в I веке до Рождества Христова.

7

Знаменитый греческий философ, живший в V веке до Рождества Христова.

8

Французское слово «Эрмитаж» значит по-русски «скит», «пустынь».

«Тилемахида» (вернее «Телемахида», но автор в тексте этого подлинного объявления придерживался начертания и орфографии самой императрицы Екатерины II) – тяжелая, неуклюжая поэма Тредияковского, старательного, но бездарнейшего пиита времен императрицы Анны.

Мебель, состоящая из двух или трех кресел, неразрывно соединенных между собой, причем их спинки повернуты в противоположные стороны.

Слава Богу!

По-французски слово «мадам» значит и «сударыня», и «сударыня».

13

«Ты этого хотел, Жорж Данден, ты этого хотел!» – фраза из комедии Мольера «Жорж Данден», в которой выводятся бедствия богатого буржуа, женившегося на женщине высшего круга. Эта фраза вошла во французский язык на правах пословицы и обозначает: «Вини самого себя».

14

Непереводимая игра слов. Адель звала Григория Орлова «Гри-Гри», а «три» по-французски значит серый.

15

«Страбик» по-французски значит «косоплазый»; «тенебр» – «потемки».

16

Франт, одевающийся с угрированной тщательностью.

17

Фюрибонд по-французски значит «неистовая», «яростная».

18

См. «Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения», гл.V, 34.

19

«Чтобы исправить все то зло, которое Помпадур причинила Франции, добросовестный Ленорман собирается вступить в союз с республикой (или с публичной Рэм)» – в двусмысленности последней фразы и заключается вся соль эпиграммы.

20

Каво – по-французски погреб. Этот кружок сыграл очень большую роль в предреволюционный период, так

как меткие сатиры и эпиграммы, импровизируемые за стаканом вина, сейчас же подхватывались улицей, не давая заснуть в массах глухому недовольству и чувству политического бесправия.

21

Т.е. милочка Бернар.

22

Густав путешествовал по Европе под именем графа Готского.

23

Комическая опера Екатерины II, в которой венценосный автор выводит Густава III.

24

Презрительное прозвище мелких актрис.

25

26

Антуан Ватто – знаменитый французский художник и гравер, родившийся в 1684 г. в Валансьене. Его живопись отличалась излишней манерностью, но зато сюжет отличался веселостью, а рисунок – изяществом и приятным, нежным колоритом. При его жизни и недолгое время после смерти (скончался в 1721 г.) картины пользовались таким успехом, что до пятидесяти граверов были заняты непрерывным воспроизведением их.

27

Так в те времена называли помещичьих возлюбленных.